



РУСЛАН КИРЕЕВ

ПИР

В ОДИНОЧКУ

РОМАНЫ

Руслан Киреев

Пир в одиночку (сборник)

«WebKniga»

2012

Киреев Р.

Пир в одиночку (сборник) / Р. Киреев — «WebKniga», 2012

Три лучших романа известного писателя Руслана Киреева впервые выпущены в одной книге к его 70-летию. Все они были напечатаны в периодике, тепло встречены читателем и критикой, удостоены журнальных премий. Роман «Посланник» (открывающий своеобразную трилогию, объединенную по замыслу автора не структурно, но внутренне) воссоздает один день нашего современника, за действиями и даже сокровенными мыслями которого наблюдает из укрытия загадочное существо, величающее себя Затворником. Завершается однотомник романом-эпилогом «Мальчик приходил». Его героям – Старику и Мальчику – не удалось встретиться, они как планеты одной звездной системы – и стремятся друг к другу, и отталкиваются; это силовое поле сообщает повествованию напряженность и динамизм. Главное место в книге занимает роман «Пир в одиночку». Он плотно населен людьми, судьбы которых как бы нанизываются на стержень сюжета – судьбу беллетриста К-ова.

© Киреев Р., 2012

© WebKniga, 2012

Содержание

Посланник	5
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Руслан Тимофеевич Киреев

Пир в одиночку

Посланник

Уходя, он, как тюремщик, запирает меня на два замка. Можно и на три, их три там, и все исправны, однако двумя довольствуется, верхним и нижним, хитроумно рассудив, что именно средний замок задержит в случае чего непрошеного гостя. Зря будет колдовать, позвякивая отмычками: даже самому изощренному спецу не открыть открытого... Заводит машину – двигатель тихо работает, прогреваясь, а он, мой посланник, сидит, положив на руль легкие руки, слушает мотор, потом, бросив взгляд на часы, надевает очки. Иногда быстро надевает, иногда медленно – в зависимости от расположения стрелок. Опоздать боится? О нет, опоздать не боится, просто любит отчаливать ровно в восемь... Ровно в девять... Ровно в двенадцать... Можно и в половине, но опять-таки ровно в половине или ровно в четверть, а не в шестнадцать, скажем, минут и не в четырнадцать. И дело не в пунктуальности – пунктуальность свою он не афиширует, ему по душе репутация человека малость рассеянного – дело, по собственным его словам, которые, дает он понять, отнюдь не претендуют, чтобы их принимали всерьез и так уж буквально, – дело в магии круглых цифр. Во вкрадчивой эстетике чисел (его тоже выраженьице), науки древней и темной, тайны которой, весело утверждает он, ныне утрачены.

До шоссе чуть больше километра, но быстро не проскочишь – так скверен этот аппендикс, так много здесь рытвин и бугров. Пусть! В конце концов неизвестно, что надежней охраняет мое узилище: хороший замок или плохая дорога. Сам-то он изучил каждую ямку и прекрасно знает, какую слева обойти, какую справа, а какую деликатно пропустить между колес. Словом, они отлично ладят друг с другом – человек и дорога; приятельства и даже некоторого панибратства исполнены их долгие отношения, только он, стреляный воробей, все равно не верит ей. Сколько раз убеждался в коварстве старой кокотки, особенно – после дождя, которому она сладострастно отдается! Тут уж надо смотреть в оба. Там, где накануне была ложбинка, царапина, утром разверзается хищная колдобина, благонаравно замаскированная тихой, мирной, с клочками неба водой... Но и в ведро подстерегают сюрпризики. Вот разлеглась сплеленная беспардонным дачником березовая ветвь, вчера еще хоть и отделенная от ствола, но живая, листики трепетали на низовом ветру, а сегодня увяла; вот – ржавая раковина с отбитой эмалью, и не на обочине – теперь уже не на обочине, – а на проезжей части.

Посланник притормозил. Каким, интересно, образом перемещается это сантехническое ископаемое? Прежде белело, как череп, в зарослях крапивы, потом перекечевало ближе к дороге и наконец выползло, осмелев, на самую середину. Выходить из машины не хотелось, особенно с утра (дурная примета: выходить, не доехав до места), – проскользнул, ас, в сантиметре от ископаемого.

Дорога отпустила на секунду, наездник весело огляделся. День приготовился быть теплым и светлым, теплее и светлее обычного, рядового, *среднего* дня этого времени года – времени тяжелых облаков, листопада и первых ночных заморозков. Еще зелены деревья, георгины цветут (я не люблю георгины), на яблонях желтеют крупные плоды. Крупные, потому что мало: неурожай, и все же на заднем сиденье – три полных целлофановых пакета, два больших и один поменьше... Почудилось даже, что пропорхнула бабочка, а в следующее мгновение – и уже не почудилось, уже точно! – толкнулся в стекло шмель. Да, день начался славно, что-то хорошее суля, но выехавший навстречу ему ничего особенно не предвкусил и ничего не загадывал. Любое неосторожное движение, знал он, разрушит исподволь складывающийся узор.

Он такое движение сделал: из машины пришлось-таки вылезти. Забыл, вырвав на шоссе, накинуть ремень безопасности, спохватился, когда увидел гаишника, но – поздно. Гаишник даже не свистнул, лишь небрежно рукой махнул, и нарушитель, пристроив кое-как автомобиль, юношеской трусцой побежал на расправу.

– Виноват, начальник! Молодой, исправлюсь. – И, прижав к груди руки, склонил набок покаянную голову.

Ну кто скажет, глядя на этого милого шалуна, что один из пакетов с яблоками предназначен для внука! Люди ахают, когда про внука узнают: не может быть! Вам ни за что не дашь... – и говорят, сколько именно не дашь, в зависимости от щедрости своей или своего лукавства, а он только руками разводит. Намекаете, шутит, что гожусь в сыновья самому себе? (Посланник любит шутить.)

А вот *начальник* – тот, напротив, метит в папашу. Насупленный, губа оттопырена, – брюзгливо документы листает.

– Откуда?

Нарушитель, быстро стянув очки, простодушно моргает.

– Грушевый Цвет... Слыхали о таком? П-поселок Грушевый Цвет. – Заикание, старый недуг, давно и надежно побежденный, дает – весьма кстати! – о себе знать. – Обратите внимание, ни одной груши там отродясь не было. – А так как инспектор не вышел росточком, тоже делается, во искупление греха, чуточку ниже.

– Груши? – подымает глаза человек в форме.

– Ага! Груши...

На лоб чубчик спадает, Посланник, вежливо уменьшенный, откидывает его, и этот мальчишеский жест, как, впрочем, и чубчик, тоже мальчишеский, хоть уже и высветленный седью, окончательно уравнивает их и в росте, и в возрасте.

Блюстителю порядка возвращает документы.

– В следующий раз...

– Заметано! – перебивают его. – Учтено и заметано...

Той же бодрой трусцой возвращается к машине. Отъезжает, однако, не сразу. Положив на руль потяжелевшие руки, прикрывает глаза и несколько секунд сидит неподвижно. Узор порушен, и теперь лишь смирение способно восстановить его. Что ж, он готов. Он не ропщет. (Машина трогается.) Он покорился – порушен и порушен, он радостно признает свое поражение, но на дне этой безоговорочной и веселой капитуляции чернеет, готовое прорасти, маковое зернышко нечаянного выигрыша.

Пока объяснялся с гаишником, не только легковушки убежали вперед, грузовики тоже, и он с удовольствием катит в одиночестве по гладенькому асфальту. Знает: у ближайшего светофора вновь окружат со всех сторон, сдавят, сомнут, но несколько вольных мгновений еще оставалось. Посланник наслаждался и был прав. В отличие от меня у него хватает благоразумия не омрачать радость сознанием ее краткости. Он диалектик у меня, прямо-таки доктор диалектики – ну да, доктор, профессор, – и тем не менее умеет, сбросив философские вериги, упиться утренним солнцем, низким, по-над землей, стремительным полетом, почти бесшумным – так отлажен двигатель, или замершей посреди тротуара женской фигуркой в голубом.

У светофора, как и предвидел, вновь подхватило и властно, шумно понесло, грозя карой за малейшее ослушание. И все-таки рабом автомобильного монстра не ощущал себя. Внутри живой, длинно вытянутой, летящей вперед клетки сохранял легкость дыхания, ибо давно открыл, не без моей помощи, золотую пружинку, нажав которую, обретаешь свободу.

Дверь, в которую врезаны три замка – на два из них он запирает меня, уезжая, – выходит не только в по-осеннему дремлющий сад, не только на соседний участок, где среди цветов и глиняных кошек обитает под розовой крышей глухонемая чета, не только на сосны, верхушки

которых вздымаются над розовой кровлей и шумят на закате совсем иначе, нежели утром, протяжней и как бы выше, не только на пруд за лесом и не в другой, на том берегу, дальний лес с вросшими в землю бархатно-зелеными надгробиями, холодными даже в августовский зной, – единственное, что сохранилось от деревни Вениково, если не считать одичавших жасминовых кустов да двух старых яблонь, раскорячившихся, с бугристой корой, прародительниц краснобоких красавцев, что везет в целлофановых пакетах Посланник, – даже не в дальний лес, продолжаю я, выходит тюремная дверь, не на полуразрушенную птицеферму, в которую кладбищенский лес этот упирается и на которую я вышел однажды с ведерком прикрытых лопухами опят, не на перекрестки и светофоры безумного города, по ночам смывающего с неба бледные звезды, – а дальше, дальше, сквозь другие города, сквозь холмы и высокие горы, поверх оврагов и болот, на самый, может быть, океан, плоское, в водорослях и ракушках, побережье.

Океан, впрочем, тоже не предел. Да и где он, предел? Где и что? Смешная жалкая деревяшка с тремя замками? Страшно подумать, сколько их на земном шаре – дубовых, еловых, березовых, ореховых, из фанеры и спрессованных опилок, цельного куска или бамбуковых палочек, с цепочками и крючочками, с задвижками и засовами, с медным кольцом, как у глухонемой четы, или костяной, как у меня, ручкой... Сколько?! Больше, я думаю, чем людей, которые без усталости мастерят их, дабы спрятаться от других, себе подобных.

Посланник не считает так. Посланник склонен думать, что двери, наоборот, соединяют индивидуумов. Любая жизнь, полагает он, есть разновидность неволи, только не надо пугаться, не надо принимать за надзор дисциплину и порядок. Стоит разглядеть их твердые контуры, и ты свободен, поскольку – о, золотая пружинка! – добровольно делаешь то, что делать все равно неизбежно.

Не все, к сожалению, понимают это, что чревато аварией, но ас мой начеку. Ас предугадывает, что вытворит в следующую секунду бежевый «Москвичок», что шалопай-мотоциклист в авиационном шлеме, при виде которого бывшего летчика овеивает ностальгическим ветерком, а что – тяжелый, вонючий (пришлось стекло поднять) дизель.

Едва переступил порог – легкий, благоухающий свежестью и ароматом Грушевого Цвета, с пакетом вениковских яблок у груди и тайной тревогой, беспричинной, разумеется, ибо гаишник – это чепуха, нельзя быть столь суеверным (так, досадуя, урезонивал себя доктор диалектики), – едва вошел, как его, раннего гостя, усадили за стол.

Играла музыка. Дочь вежливо убавила звук, но лишь убавила, а могла б и вовсе выключить. Не пожелала... Словно рассеять внимание хотела. Словно развлечь старалась, отвлечь – дабы не заметил, остроглазый, чего-нибудь такого, что лучше не замечать. Я ухмыляюсь в своей крепости – экий мнительный палаша! – а он тем временем лакомится с внуком под музыкальный аккомпанемент взбитыми сливками. На усах, уже начавших сесть, трогательно белеют островки сладкой пены.

Такие же островки – целый архипелаг – тянутся под носом продолжателя рода, тоже, стало быть, усатенького. Точно собственное отражение видит Посланник – отражение в толстом, мутном зеркале времени, о чем и сообщает дочери. И сам ужасается:

– О господи! При чем тут зеркала? Откуда в нас, скажи на милость, это галантерейное стремление упаковывать все в оболочку слов? Прямо-таки болезнь какая-то! Эпидемия...

– Именно поэтому, папочка, я предпочитаю музыку.

Посланник поджимает испачканные сливками губы. Вообще-то он признает свое музыкальное невежество, признает охотно и весело (все свои недостатки он признает весело), но одно дело – он сам, а другое – она, лицо хоть и не постороннее...

Он не обижается. Напротив, незаметно переводит с облегчением дух: все, значит, в порядке у чада, коли отца поддевает. Родитель не остается в долгу.

– Не холодно?

Алая маечка, явно тесноватая ей, не то что прозрачна, нет, но как бы притворяется прозрачной.

– Я не такая же мерзлячка, как...

Отражение собственной иронии – еще одно отражение! – улавливает папаша в оборванной лукаво фразе. У нее и прежде проскальзывали и жесты его и ужимки, что всегда поражало sentimentalного родителя. Дочь? Моя дочь? Так, кажется, и не переварил до конца, а тут внучок уже, существо и вовсе загадочное.

Другие, становясь дедами, наращивают солидность, а он, напротив, помолодел. Будто перенесся из полдня – если не из вечера, – в утро, причем утро хоть и осеннее, но светлое и ясное, подобно сегодняшнему, с бабочками и шмелями.

«Я не такая мерзлячка, как...» Тут она несправедлива к отцу. Разве не обливается по утрам холодной водой? Разве не шастает в двадцатиградусный мороз без кальсон и в шапке с поднятыми ушами?

Зато я зябну постоянно. Под двумя одеялами сплю да еще сую в ноги грелку, которая обжигает закороченные пальцы, но не согревает их. Медленно и вязко течет кровь в твердеющих жилах, как медленно и вязко текла она у Сенеки, когда этот великий лицедей, выкушав напоследок теплого меда, перерезал себе вены... Я зябну, а вот мужчина, которого привела дочь, в закаленности, надо отдать ему должное, не уступает тестю. Одно время даже бегали на пару и на пару купались в грушецветном, за ближним лесом, пруду, вместе в баню ходили, где вдохновенно стегали друг дружку вениками, которые, разумеется, заготавливаю я.

Именно в бане узрел он по-настоящему новообретенного родственника. Розовое молодое тело было не просто обнаженным, не просто нагим – лишь шерстяная шапочка прикрывала голову, – а каким-то вызывающе голым. Бедный диалектик! Он тоже был гол (даже без шапочки), но он был целомудрен. Поспешно отвернувшись, принялся хлестать себя, дабы не видеть проступающую сквозь горячий туман перламутровую от пота, в зеленых листиках плоть.

– Как зятек мой? Наведывается в баньку?

– Ты же не берешь его.

И опять ирония в голосе, но уже иная, не к нему относящаяся (он чувствует, если к нему), – к мужу. Наверное, к мужу...

– Надеюсь, у него все нормально?

Он дипломат у меня, мой консул и атташе, мой полномочный представитель, мой посланник, он дипломат, и, следовательно, дочь его была дочерью дипломата.

– У тебя, – произнесла, – испачкано.

– Где? – всполошился он и, выхватив платок, принялся вытирать усы. – Все?

– Все, – ответили ему с улыбкой.

Она была дочерью дипломата, но не дочерью диалектика – профессионального диалектика, который, с одной стороны, досадовал, узнавая себя в собственном отпрыске, а с другой, втайне жалел, что не по его все-таки стопам пошла она, а по стопам матери. И такого же отыскала себе муженька. О мизансценах дискутируют, о динамике театрального действия – втроем, не обращая на него, сидящего рядом, внимания. Он не обижается. И они ведь профессионалы, профессионалы и коллеги, а он... Кто – он? Дилетант, потребитель... «Просветите, – просит, скрестив на груди руки, – дилетанта и потребителя».

Но одно дело – мизансцены и динамика, а другое – благополучие молодого дома. Надежность молодого дома... Дети не даются человеку раз и навсегда, как по наивности полагал он когда-то, время относит их, и папаше даже нравится, что относит, пусть, свобода – отличная вещь, однако, обратил он внимание, относит, в основном, удачливых детей, неудачливых прибывает обратно.

Ему вспомнилось, как сидели с зятьком, по-античному завернутые в простыни с синими банными печатями, и дочерин избранник живописал битвы с театральными ретроградами.

– Все так же, – молвил профессор, – ищет правду?

В руке у молодой мамы заалело яблоко.

– Кто сейчас не ищет правды?

Я! Я не ишу! Поливаю себе огурчики, колю на зиму дрова да с любопытством наблюдаю за перемещениями в пространстве моего полномочного представителя. Только что для юной дамы какой-то затворник! Понятия ведь не имеет, кто вырастил яблочко, которое она, вытерев, кладет перед сыном.

Мальш не на яблоко глядит – на деда и глядит как-то очень уж серьезно. Очень уж проникательно... Даже не на деда будто, а *сквозь* него. Вот-вот, сквозь, на упрятанного за двумя замками бледного узника.

Посланник торопливо подымается.

– Мне пора. Спасибо за угощенье, доченька! Сливки были великолепны.

До двери провожает молодая хозяйка, но губы, уже приблизившиеся, чтобы чмокнуть на прощанье, вдруг останавливаются.

– У тебя все нормально, папа?

Вот! Его же вопросик, только ему теперь, ему. (Опять как в зеркало посмотрелся.) У самой, значит – коли об отце забеспокоилась, – и впрямь ничего серьезного. Так, пустяки: динамика, мизансцены...

– У папы всегда нормально... Когда прикажешь в Грушевом Цвету ждать?

Дочь вздыхает. С удовольствием, но времени – ты ведь знаешь, папочка! – нет совершенно.

Знаю, доченька, знаю. Мизансцены, динамика... Можно раскланиваться и с легким сердцем мчать в глубину солнечного дня, узор, которого хоть и порушен (проклятый гаишник!), но авось еще восстановится.

Мизансцены здесь, конечно, ни при чем – просто с некоторых пор догадывается о моем существовании. Я даже знаю, с каких именно...

Была весна – то ли конец апреля, то ли май, самое начало. Яблони, во всяком случае, не цвели, хотя дни стояли теплые – я даже не прикрывал на ночь парник с огурцами (это моя обязанность: ухаживать за всем, что произрастает на территории острога), а дочь-десятиклассница, когда вышли с папашей, до полуночи отсидев у телевизора, накинула лишь легкую кофточку. «Не замерзнешь?» – спросил он, почти как сегодня, и в тот же миг ощутил холодок. Не близкий, у тела, протяжный холодок, что грозит не окрепшему еще листу, предмету тревог моих и опеки, а холод быстрый, как зарница, и, как зарница, далекий. Посланник поежился. Темнота, которая окружала их, была не только темнотой пространства, вместившего лес – и ближний лес, и дальний, с могильными плитами деревни Вениково, – но еще и темнотой времени, что исподволь просачивалось между отцом и дочерью, дабы вскорости разлиться широко, оставив его на этом берегу, а ее перенеся на тот, едва различимый, где, собственно, и блеснула зарница.

В доме забили часы. Между густыми медленными ударами Совершенноумудрого прославился тонкий, как фольга, голос Евнуха, тяжело Филин ухал, дуэтом верещали Кукушки... Дочь слушала, напрягшись и смутно ощущая чужое присутствие. (Мое присутствие.) «Зачем, – прошептала, – столько часов?» Он не нашел ничего лучшего, как посетовать со смешочком на свою болезненную пунктуальность. А, собственно, что еще мог он сказать? Разве благодаря его стараниям вновь запульсировали давно остановившиеся механические сердца и, дрогнув, струнулись с места стрелки? Разве он возвратил голос чудесным машинам, обреченным на вечное безмолвие подобно глухонемой чете, мирно спящей сейчас? (Ни единого окошка не горело под светлеющей крышей.) Разве он ухаживал за ними, как ухаживают за детьми? (Но этих детей в отличие от живых время не относит.) Нет, не он, и дочь угадала это. Почуяла: кто-

то обитает на их угрюмой даче – давно, с самого, может быть, начала: не зря хныкала, когда, еще малышкой, ее возили сюда. Это заброшенное кладбище в так называемом дальнем, а на самом деле очень даже близком лесу... Эти мычащие соседи с глиняными котами, которых они, безглазых и безусых, выстраивают сушиться на подоконнике между кактусами и геранью...

Первым, как всегда, отговорил Совершенномудрый. Вслед за ним, будто испугавшись собственной дерзости, смолкли Евнух и Филин. Тишина наступила. Молчали дома (соседний, с глиняными котами, молчал иначе, нежели другие, тише), лес молчал, и даже железная дорога затаилась – ни стука колес, ни отдаленных взвизгов электрички, но это опять-таки пространство, время же наполнилось приглушенными звуками. Посланник с дочерью вряд ли слышали их, но мое ухо улавливало. Улавливало голоса – чужие голоса, смех – чужой смех, мужской, хотя никакого мужчины еще и в помине не было, один в баню ходил, рокот и вой двигателей, едва различимый, из сегодняшнего, может быть, дня, когда накормленный сливками папаша, успокоившийся – все в порядке у чада! – катит с приспущенным стеклом по солнечной трассе...

До поворота оставалось метров триста, пора было переходить в правый ряд, но машины шли плотно, одна за одной, – как втиснуться между ними? Вот разве что оранжевый «Жигуль» замешкает... Мой ас исподволь следил за ним, и тут вдруг хозяин «Жигуля» оборачивает рябое желтое лицо. Оскалив металлические зубы, грозит пальцем. На перекрестке оба сворачивают, квартал бок о бок идут, после чего «Жигуль», блеснув напоследок солнцем, ныряет в переулок. Расстаются, чтобы никогда больше не встретить друг друга, – я на месте Посланника решил бы так непременно и ошибся б, потому что не прошло и десяти, минут, а желтолицый уже катил навстречу. И снова пальцем грозил.

От неожиданности профессор сбросил газ. Скорость упала. Справа, медленно обгоняя, высунулся голоногий велосипедист. Задрал алый зад, мчал вдоль кромки тротуара; под упругими колесами быстро и сухо похрустывали листья. Не знаю, слышал ли Посланник, скорей всего нет, но точно так же много лет назад, сминаемый узкими шинами, потрескивал и шуршал кленовый багрянец на широкой, без машин и прохожих улице, по которой раскатывал на высоком седле сосредоточенный мальчуган.

Ровно на час дали мальчугану велосипед – в уплату за натюрморт, с которым юный рисовальщик управился меньше чем за пол-урока. То был кувшин с отбитой ручкой, фиолетовый, с солнечным пятном на боку, он возвышался посреди учительского стола, и весь класс вдохновенно запечатлевал его на белых листочках. Весь – кроме владельца велосипеда, который нанял втихаря исполнителя, что накануне пожирал глазами двухколесное чудо.

А вот я, бледнолицый узник, равнодушен к лимузину Посланника. Пусть разъезжает сколько душе угодно по утренним магистралям, пусть дарит женщинам георгины (не люблю георгины), пусть пригубливает из тонкого бокала ароматное вино (терпеть не могу спиртного) – у меня свои радости. Смею надеяться, что моя неволя не тесней его, не темней и не удушливей. Пружинку-то – ту самую, золотую! – я отыскал раньше.

Без минуты десять подкатил, из машины же вышел тютелька в тютельку: по «Маяку», как гимн в его честь – гимн пунктуальности, – играли позывные. Это цокольный этаж подавал голос: там всегда радио включено и всегда горит свет – даже в такие ясные, такие солнечные, как сегодня, дни. Приблизившись, можно увидеть за маленькими окошками занятых чем-то людей, бледных и строгих, с сомкнутыми губами.

Кто они, эти подвальные люди? Что делают? Неизвестно... Со времен студенчества не бывал внизу – тогда там ютилась столовая. Раз, опоздав, ткнулся в запертую дверь, постучал, подергал, послушал доносящиеся изнутри голоса и звон посуды и, голодный, двинулся в обход. Прощмыгнул через гардероб, где поблескивали голые крючки, открыл белую дверцу. В небольшой комнате сидел человек с салфеткой на груди, обстукивал ложечкой яйцо. Изумленно уставился на гостя – тоже затворник, надо полагать, неведомый товарищ мой...

Не глядя под ноги – каждая выбоина знакома! – избегает профессор по широким ступеням. Дверь настежь распахнута, а чтоб не закрылась, подсунута стертая хоккейная шайба. Альма-матер, колыбель... Прыщавенький мальчик-вахтер, явно из студентов, вскакивает, но мой демократ движением руки усаживает юнца на место. В Колыбели все равны! Бодро по коридору шагает, но у первой же открытой двери останавливается.

– Здравствуйте, девочки! Как жизнь молодая?

Девочек три. Даже четыре – одну, что возится у шкафа, не заметил сразу, а она-то как раз рада ему больше всех: улыбается, зубастенькая, со смуглым лицом и седыми короткими волосами. Улыбается, потому что помнит его еще студентом. И аспирантом тоже помнит. И доцентом...

Все растет да растет он, а она как переключивала папочки в шкафу, так и переключивает. Словно специально поставлена сюда для контраста. Для того, чтобы оттенять собою чужое движение.

Посланник не кичится. Посланник никогда не говорит о своих успехах. А вот о неудачах – о тех говорит.

– Меня сейчас, – жалуется, – чуть не оштрафовали. – И достает ключи, связку целую (от машины – маленький самый), интригуяще позвякивает. Ну-с, кто сообразит?

– Нарушили правила? – пугается девочка для контраста. Ах, добрая душа!

– Нарушил! – ликует профессор. – Нарушил... Хотя, если откровенно, – (Посланник любит говорить откровенно), – нет на свете ничего приятнее, чем нарушать правила.

Смеются. Кажется, его поняли несколько фривольно – солнышко действует? На столе в по-весеннему ярких лучах горит кувшин – как горел тот, фиолетовый, с отбитой ручкой.

Тюремщик подкидывает ключи – ключи вспыхивают (особенно те, на которые заперт я), ловит, быстро в карман сует.

– Денечек, а? Бабье лето!

Лето он любит – и бабье и не бабье, любит рубашечки с короткими рукавами и легкие, на тонкой подошве, туфельки. А вот я, хоть и зябну, предпочитаю в се-таки зиму – с валенками, с длинными ночами и потрескиваньем камина, который сложил собственными руками. Дрова не сгорают в нем мгновенно, а живут долго, шевелясь и побряхтывая. Всматриваясь, начинаешь различать в затухающих углях загадочные строения. То ли хутор какой, то ли деревню (например, Вениково; эту я изучаю с особым пристрастием), а то и город с небоскребами (если долго не отрывать взгляда) или даже целый мир, который, остывая, гибнет на твоих глазах. (Глазах Творца.)

– Не забыли, – напоминает девочка для контраста, – что в десять пятнадцать – конкурсная комиссия?

Посланник прижимает к груди руку. Не забыл – конечно, не забыл, но за опеку признателен.

– Подскажите-ка, – шепчет, – за кого голосовать.

Лучшая форма благодарности: попросить совет у человека.

– За всех! – напутствует добрая душа.

Другая же, не очень добрая, прибавляет:

– Особенно – за Пропонада.

Профессор, улыбаясь, поглаживает усы. Просто усы поглаживает, ничего больше, а уж девочки пусть сами разбираются, что означает сие. То ли сигнал, что намек понят и будет учтен, то ли удивление: а почему бы и нет? За всех так за всех!

Небоскребы не занимают меня: что мне эти улы, эти призрачные пирамиды, косо и зыбко проступающие сквозь огонь! Прожив – за секунду-другую! – долгий век, оседают, оползают, разрушаются бесшумно – от бесшумного же, как в немом кино, взрыва, но это не беда, скоро на

их месте вырастают новые. Я не всматриваюсь в них. Наверное, между ними есть различия, но я не всматриваюсь. Да и что увидишь с такой высоты! Но когда из подернутых пеплом дремлющих углей, которые по-собачьи вздрагивают спросонок, выпростаются очертания улицы с приземистыми домишками и острой белой колокольней, я стремительно спускаюсь, почти пикирую – мой Экзюпери употребил бы именно это слово. Вот дырявый навес, из-под которого высовывается ржавый прицеп, вот деревянное сельповское крыльцо – широкие ступени стертые до блеска, до зеркала, пускающего в глаза солнечных зайчиков; вот колодезный сруб с журавлем, на котором деревенский мальчонка совершил свой первый полет. Земля мягко оторвалась от детских башмачков (один соскочил), отлетела стремглав, провалилась – один-одинешенек оказался в огромном небе, вдруг потемневшем, как всегда темнеет оно, если забраться достаточно высоко. (У камина, впрочем, все равно выше.) Я вглядываюсь, узнавая, но не все, не все... Что за нелепое строение с голубой крышей? (Нет, уже не голубой – желтой.) Что за улы? Не небоскребы, настоящие улы, целая пасека – ее тоже не было. А вот и пасечник Сотов в темной накидке, человек без лица, таинственный молчун, вокруг которого снуют золотые пчелы. Их немного, они доверчивы и мирны, но стреляет, распадаясь, обуглившаяся чурка, и сразу целый рой взвивается в паническом хороводе.

- За всех так за всех! Именно это наказывали мне, провожая на наше высокое собрание.
- Кто наказывал? – любопытствует бабуся с кафедры иностранных языков.
- Женщины. Кто же еще! Я предпочитаю иметь дело с женщинами.

Чистая правда: он предпочитает иметь дело с женщинами. Кроме одной, надо полагать. На которую не смотрит, а она улыбается карими глазами и поправляет на округлой теплой царственно спокойной руке браслет в форме двухголовой змейки.

Иностранные Языки грозят пергаментным пальчиком:

– Шалун!

– А уж дед ведь! – резвится другая кафедра, математики, тоже женского пола, но помоложе.

– Дед! – не отпирается он. – Как раз от внука только что. Дары сада отвозил.

Женщина со змейкой тоже могла бы уже стать бабушкой...

– С дарами нынче не густо вроде бы?

– Смотря у кого. У меня, похвастаюсь, кое-что есть. Так называемый вениковский сорт. Слышали о таком? Собственная селекция! – А сам понятия не имеет, ни как черенок срезать, ни где хранить, ни каким образом сделать надрез в подвое...

– Угостили бы!

Ах, как подмывает моего самозванца сбегать к машине, принести пакет и высыпать на стол – кушайте, господа! – (рука, обвитая змейкой, тоже потянется, но последней), однако быстро подавляет искус. Не из скаредности – скаредности нет в нем, этим, каюсь, я грешен, – из приверженности к порядку. Для других предназначены сегодняшние розовобокие красавцы, и другие получают их.

К конкурсным делам дары сада отношения не имеют, но Пропонад не вмешивается, страдает молча. Едва речь о нем зашла, деликатно покинул председательское место, сбоку пристроился. Пусть болтают, пусть транжирят драгоценное рабочее время – его дело сторона. Сейчас он не председатель комиссии, не адепт дисциплины, не проректор по надзору и даже не просто проректор, а рядовой соискатель.

Потупив очи, выслушивает характеристику, что дает ему как заведующий кафедрой мой дипломат. Вскользь о лекциях упоминает – лекции как лекции, вскользь о семинарах – семинары как семинары (Посланник не любит врать), зато с удовольствием распространяется о музыке.

– Моя дочь заявила не далее как сегодня, что, если выбирать между словом и музыкой, то она не колеблясь отдаст предпочтение последней. Думаете, это она так просто? Э, нет! На папочку намек. Папочка-то со словом работает.

– Все мы со словом работаем. – (Кафедра Иностранных Языков. Ну, бабуся!)

– Все-то все, но кое-кто выкраивает времечко и для иного. Для скрипки, например. Не знаю, как вы, а я завидую. В каждом из нас живет художник... – Кувшин имеет в виду? Фиолетовый, с отбитой ручкой? Или карандашный портрет женщины со змейкой, набросанный с ее высочайшего разрешения четверть века назад? (Тогда, впрочем, змейки не было.) – Короче, уважаемые коллеги, есть предложение: рекомендовать Ученому совету избрать на должность профессора... Ну и так далее. Кто – за?

Все. Все – за. А на Ученом совете накидают адепту черных шариков.

Соискатель растроган.

– Спасибо!

Не «благодарю» – обычно он говорит «благодарю», – а именно «спасибо». И таким тоном, будто скрипка в руке. Маленькая такая скрипочка, на полированной поверхности которой сияет солнце. (Как сияло оно, далекое, на том кувшине.) Вообще-то ее никто не видел у Пропопада, но и преподаватели и студенты знают: пиликает.

На законное место возвращается подпольный скрипач, строго оглядывает расшумевшуюся профессуру. Глазами – только глазами, лицо же неподвижно, как крепость, в бойницах которой ходят прицельно черные зрачки.

Стучит по столу костяшками пальцев.

– Внимание, товарищи! Прошу по существу.

На кафедре моего хлопотуна подкарауливает Стрекозка. Неожиданностей и приключений полна молодая профессорская жизнь – экий контраст с пожилым затворническим существованием! Тюремщик, однако, зря воображает, будто тихое существование это лишено разнообразия. Отнюдь! Дня не проходит, чтобы не изменилось что-либо: цвет ли шершавого, предсмертно тяжелеющего листа, под которым наливаются и твердеют в еще цепком гнездовье бледные орешки; узор ли паутины, куда угодила муха, но вырвалась, унесла ноги, хотя, кажется, не все: что-то тонко и изломанно чернеет там – оторванная лапка? Посаженная ли в прошлом веке яблоня, совсем одряхлевшая; еще одна ветка засохла – та самая, что безропотно отдала часть своей плоти для моего сада. Бой часов – и тот, если вслушаться, непостоянен. И начинается, и заканчивается, естественно, Совершенномудрый – этакая патриаршья рама из тяжелой меди, но как изменчив и прихотлив заключенный в нее узор! То писклявый Евнух выскакивает впереди Филина, то сначала Филин басит, а Евнух вторит, то разом оба – голоса накладываются, хотя один как правило чуточку сдвинут относительно другого. Полное совмещение случается редко, но случается, случается, и я предвкушаю, я подстерегаю этот момент, как глухонемая чета подстерегает, терпеливая, розовый праздник кактуса, что распускается на подоконнике среди безусых котов. Словом, скучать не приходится. Я уж не говорю о старинных фолиантах – неважно, что с виду они подчас совсем новенькие, клеем пахнут и типографской химией. Доктор, листая их, выклеивает, как воробей, мудрые мысли, за что я не осуждаю его, упаси Бог, – воробышку тоже кушать надо! – но сам равнодушен к подобным яствам. Как, впрочем, и вообще к еде. Не вкус, а слух – источник высшего наслаждения. Слух! Не тот, правда, что внимает капризному перезвону часов или воспринимает виноватый голос Стрекозки («Я домой тебе звонила»), – другой, на другие настроенный голоса. Вот бродяга Ян Чжу, соплеменник Совершенномудрого, рассуждает о смерти, которая уравнивает всех – велико ли, дескать, различие между рассыпавшимися человеческими костями, а потому живи, покуда жив, наслаждайся! – а вот грек Эпикур, слыхом не слыхавший о китайском бузотере, вторит ему чуть ли не слово в слово... Совпадения? Пусть так, но я без устали охочусь на них,

я их вылавливаю и, как бабочек, нанизываю на иглу. Смею думать, что мало кто в мире располагает подобной коллекцией. (Посланник – тот собирает авторучки.) Разделенные временем и пространством, поверх наших голов ведут беседу умные люди – в *ином* времени ведут и в *ином* пространстве, – а я, как шпион, подслушиваю. Ухватываю, угадываю отдельные слова и, укрывшись в пещере под названием Грушевый Цвет, связываю их воедино.

– Я домой тебе звонила.

Оправдывается, что на службу явилась? Успокаивая, хлопотун касается легонько сухонькой ладошки, которая напоминает что-то знакомое. Лапку иностранной бабуси?

– Инна сказала, ты на даче.

Мой джентльмен прижимает к груди руку. Теперь уже он оправдывается – за то, что не дома сидел в ожидании звонка, а прятался в пещерах; вот и пришлось в Колыбели отлавливать. Отлавливать да еще ждать – и это там, где все напоминает о покойном муже!

Посланник заговорщицки наклоняется к крашеным волосам, которые, наверное, если тронуть их, сухо шуршат – подобно стрекозым крылышкам. (Посланник не трогает.)

– Пропонада, – шепчет, – в профессора производили.

Напудренное личико каменеет. Пропонада? Успокаивая, прикрывает глаза. Производили, да, но это не значит, что произвели.

– В четыре, – сообщает по секрету, – Ученый совет.

Трепещущими ноздрями втягивает аромат французских духов. О Париж! О Стрекозка! Руку от груди, однако, не отрывает, из чего следует: повинен не только в том, что мотался по дачам вместо дежурства у телефона, но и кое в чем еще.

Стрекозка, успокоившись (не произведут в профессора!), догадывается, в чем. Время идет (не философское – обычное время, что отмеривает Совершенномудрый вкупе с Евнухом, Филином и Кукушками), а рукопись лежит. Замечательная рукопись про античного скептика. Автор не дал ей названия, не успел, но остался, слава Богу, приятель, у которого прямо-таки талант прищлепывать ко всему на свете этикетки и бирочки... «Шестой целитель». Чем не название?

– После лекции, – подымает палец, – еду в Симбиоз. – Еще одна этикетка. – С яблочками! Яблочки везу... Со своего сада.

– Я не из-за этого к тебе.

То есть не из-за «Шестого целителя»? Ее правильно понимают?

«Правильно», – отвечает Стрекозка взглядом. И прибавляет вслух:

– Сегодня пятьдесят лет Толе.

Посланник хмурится, тяжелеет, рука – та самая, что прижималась к груди, – бессильно падает.

– Неужто пятьдесят?

Скорбно устремленные снизу вверх зеленые глазки под нарисованными бровями не прячутся и не мутнеют. Ясно и открыто глядят, честно, с уважением к круглой дате и некоторым даже сочувствием. Будто покойному мужу, бедняге, – пятьдесят, а ей, ровеснице его (у дипломата прекрасная память на числа), – тридцать четыре.

Тут еще одна появляется стрекозка (лето! сущее лето на дворе), уважительно шуршит на расстоянии бумажками.

– Что-нибудь срочное? – Хотя не хуже меня знает, что на свете ничего срочного нет.

– Почасовики. Надо подписать, а то бухгалтерия не успеет.

Зарплата, святое дело... Достает ручку (не коллекционную – обычную), щелкает, а взгляд тем временем пробегает документик. Не машинально: у Посланника прекрасная память не только на числа, особенно круглые, – на фамилии тоже. А вот что сегодня день рождения Три-а – из головы вон, хотя отмечали же, хотя праздновали, раз даже вдвоем и при этом –

свидетельствую! – не скучали. Даром, что ни вина не было, ни музыки, ни даже света. При свече сидели, а за хлипкими стенами шумел негромко редкий дождь. Три-а печку растопил, и сразу теплом повеяло, уютom, домom. «Как в бабушкином сундучке», – обронил насмешливый гость, хозяин же помалкивал, лишь на худом глазастом лице плясал рвущийся из печурки свет. Казалось, он улыбается... Казалось? О нет, пришелец заблуждался: то была не игра света, то действительно улыбка проступила, как проступает в рентгеновских лучах внутренний абрис человека.

– Помнишь Сундучок? – отпустив на волю бухгалтерские бумаги, произносит – элегически! – доктор диалектики.

Стрекозка прикрывает глаза. Как не помнить! На иссиня-голубых веках топорщатся тяжелые от краски ресницы. Как не помнить – Сундучок-то! Милый, славный Сундучок, над рубероидной крышей которого возносилась жестяная труба, хорошо видимая из электрички. Даже летом (веки поднимаются), даже в жару Толя протапливал печь, чтобы я, подъезжая, видела дымок. А заодно ужин готовил... Ты ведь знаешь, какая из меня хозяйка! Знаю, улыбается Посланник, знаю, но только Сундучка нет давно, и Толи нет, и вечера сегодняшнего, увы, тоже нет – обещан, запродан Дизайнеру, с которым ты, пардон, очень даже знакома... А ведь ты здесь, чтобы пригласить на печальное торжество, не правда ли?

Правда...

– В половине седьмого собираемся. Приходи, если можешь.

Посланник стонет. Тихо совсем, почти про себя, но его слышат.

– Не получается?

Слышат и сочувствуют. И ни в коем случае не осуждают. Понимают – он ни при чем здесь, это она виновата: не предупредила заранее.

– Я звонила, но Инна сказала, ты на даче.

Вот так же студенты на экзаменах, не зная билета, повторяют как заведенные одно и то же.

– Я постараюсь, – обещает профессор. – А сейчас – извини: лекция. – Глядит проникновенно (почти как на гаишника), виновато моргает и даже заикается слегка. – П-правда, постараюсь!

Строго говоря, не профессору, а мне, его пленнику и секретарю, принадлежит образ рентгеновской улыбочки, что проступала в красных отблесках камина. Не печурки, жестяная труба которой торчала над рубероидной крышей, а именно камина. Пусть небольшого, пусть не ахти как сложного, но все-таки камина – с трубой из кирпича и над крышей, разумеется, черепичной.

Я хочу сказать, что Три-а бывал в Грушевом Цвету. Посланник привозил – раза два или три, не больше, да и то раскаивался после. Как, конспиратор, ни прятал меня, как ни заговаривал приятелю зубы и ни уводил аккуратненько в сторону, гость не только учуял присутствие *другого* существа, но даже украдкой пообщался с узником. «Пасечник», – обронил на кладбище в дальнем лесу – одно-единственное слово! – и я, поглядев на вросшую в землю серо-зеленую плиту с полустершимися буквами (лишь *Сотов*, выбитое поглубже и покрупнее, еще кое-как можно было разобрать), тотчас признал в щербинках на могильном камне медоносных насекомых. Пасечник! Ну конечно, пасечник, из деревни Вениково... Это уже я сказал, тоже одно-единственное слово – Вениково, – и он тоже понял. Не надо было растолковывать, что вовсе, может быть, не Вениково звался данный населенный пункт, наверняка даже не Вениково, потому что никому в округе, кроме меня, неизвестно сие название. Ну и что? – у каждого своя география. Своя – никакими не зафиксированная картами, никакими не уловленная глобусами. Москва согласно ей может переместиться куда-нибудь в Африку, а деревня Вениково – под Москву, в дальний лес, вместе со старыми, из прошлого века, домишками, вместе с дырявым навесом, из-под которого высунулся ржавый прицеп, тоже дырявый, клочки

сена торчат, а на борту нарисована мелом то ли коза, то ли собака; вместе с колокольней, что косо несется навстречу облакам, белая, в окружении черных птиц, бесшумно пронзающих ее; вместе с колодезным срубом, над которым воспарил однажды малыш, а мама внизу осталась – осталась навсегда! – такая вдруг далекая, с огромными глазами и черным, как те птицы, безмолвным – безмолвным навсегда! – ртом. О, уходящая из-под ног – вместе с материнской немотой – земля! Из-под шасси она иначе уходит, грузно и нехотя, словно отталкиваемая надрывным, натужным ревом. Как лапки, поджимаются проворно шасси. Мой Экзюпери обожал этот момент, и после, летая уже в качестве пассажира, всегда с предвкушением подстерегал его.

Еще только поднимаются – вразнобой, гремя стульями, – а он уже, быстро поздоровавшись, делает жест рукой: садитесь! Быстр и стремителен – как всегда, но видит – о, мой уполномоченный все видит! – если кто не встал под шумок и не то что делает зарубку в памяти (зачем? С большой ведь неохотой ставит «неуды»), но мысленно отмечает.

Сегодня отмечать некого. То ли потому, что задержался, чего с ним давненько не случилось, то ли из-за солнышка, которое взбодрило и разбудило юную поросль (спят ведь! форменным образом спят; наставник поражался апатии нынешней молодежи), но поднялись, приветствуя профессора, все.

– Прошу прощения!

С его стороны это не только вежливость, а еще и воспитательный акт. Косвенное замечание тем, кто взял за моду опаздывать на лекции. На крайний во втором ряду стол бросает взгляд – пусто! Русалочки нет, а ей-то в первую очередь и предназначен урок.

– Примите, – резвится доктор диалектики, – мои соболезнования. В такую погоду и – корпеть над Кантом!

Кант, конечно, здесь ни при чем, о другом немце заведет волынку, да кто из них, кроме Русалочки, заглядывает в тексты! Учебниками довольствуются... Суррогатом... Но это уже не Посланник, это уже я ворчу, брюзга и зануда. Воля ваша, но характер портится в заточении.

Будто из зрительного зала гляжу в бинокль на ярко освещенную сцену (не юпитерами освещенную – солнцем), по которой ходит, улыбаясь и жестикулируя, лицедей в полосатом костюмчике. Вот руку выбросил – в сторону остряка, который предлагает отменить по метеоусловиям Канта, вот палец поднимает: внимание! – а вот, обернувшись к двери, делает приглашающий жест: милости просим!

Это она, длинноволосая Русалочка, близорукая и бровастая, в плетеных шлепанцах на босу ногу.

– Прямо из воды? – шутит профессор, косясь выразительно на пляжную обувь.

Аудитория смеется, но смеется хорошо, без злорадства; и эрудицию прощают ей, и языки, на которых читает в подлиннике мудрые книги. Аудитория смеется, но на бледном русалочьем лице нет и тени улыбки. К своему месту идет, садится напряженно, открывает сумочку. Школьную тетрадку достает и – опять-таки по-школьному – устраивает на краешке стола локотки. Есть что-то общее между нею и Три-а, хотя тот улыбался постоянно, а эта всегда сосредоточена. Слушает, потупив взор, тетрадка разложена, как силок, но время идет, профессор вдохновенно говорит, но хоть бы словечко затрепыхалось в силке! (Три-а тоже не конспектировал лекций.) Откровения ждет? Истины с большой буквы? Но ведь ее нет, большой, маленькие все (моего педагога хлебом не корми, дай только отступить от темы), много маленьких, пренебрегать которыми – назидательно поднимает палец – грех... Вот, к примеру, окно с грязными стеклами (когда пасмурно, они кажутся чище) – это ли не истина? Вот – видите? – воробей уселся на металлический, в пятнышках помета карниз и чирикает – тоже истина, разве нет? Вот украдкой от преподавателя пустили по столам записочку, в которой, надо полагать, речь вовсе не о философских материях (аудитория смеется – кроме Русалочки), – опять-таки истина, которую высветило наше сознание, но высветило отдельно от немытого стекла или воробышка на кар-

низе. Есть ли связь между ними? Бергсон полагает – есть, все вписано, утверждает фантазер Бергсон, в некий космический сценарий – от чириканья птахи до разлетающихся галактик (не совсем так, но доктор диалектики не грешит академическим педантизмом), однако было бы насилием втискивать сии маленькие и неопровержимые – в силу наглядности своей – истины в умозрительный каркас Истины единой и всеобъемлющей.

Русалочка взяла ручку. Два или три слова записала, не больше, но для Посланника и это хлеб. Как маленькая истина – все-таки истина, так маленькая победа – тоже победа, не говоря уже о маленьких радостях. Банька с веником... Дружеский интимный ужин, так некстати совпавший с юбилеем Три-а. (Не позвонить ли все же Дизайнеру?) Быстрая езда на бесшумном автомобиле... И даже – девочка для контраста, без которой оцени-ка попробуй собственную скорость! (Мне, ведущему малоподвижный образ жизни, подобные вехи не нужны.)

Положив ручку, Русалочка произносит что-то – как всегда монотонно и тихо, под нос себе. Но профессор начеку.

– Не согласны с чем-то?

– Не я...

– Не вы? – удивляется преподаватель. – Кто же в таком случае? Аудитория затихает.

Аудитории по душе их препирательства.

– Единая идея – это сама жизнь.

– Истина и идея, – отечески уточняет доктор диалектики, – вещи разные. Это во-первых.

А во-вторых, не единая, а абсолютная. У Гегеля это называется абсолютной идеей. Вы ведь Гегеля имеете в виду?

– Не Гегеля...

– Не Гегеля? Кого же тогда, интересно знать?

– Абсолютной идеи не существует.

– Bravo! – хлопает в ладоши профессор. – Bravo вашему мужеству. Нынче ведь не модно признаваться в материалистических воззрениях.

– Я ни в чем не признаюсь.

– Но если не материализм, то идеализм. Если не Демокрит, то Платон. Третьего, как известно, не дано.

Вообще-то он у меня небольшой любитель научных диспутов – уж я-то знаю! – но кажется, знает и она. Догадывается... Вот даже спорит не с ним как бы, а с кем-то другим, незримым.

– Третье – это жизнь. И чистая материя, и чистое мышление без нее мертвы.

Профессор поглаживает усы. Ему спокойней, когда этой близорукой феи нет в аудитории (уж не боится ли, что в один прекрасный день наденет очки?), но когда появляется – непременно с запозданием! – что-то заставляет его, к собственному неудовольствию, постоянно пикироваться с нею.

А тем временем в сумерках цокольного этажа, прохладных и вечных, как космос Бергсона, копошатся при электрическом свете подвальные люди. Когда-то там ютилась столовая и некто с салфеткой на груди обстукивал яйцо. С тех пор Посланник во чрево Колыбели не спускался ни разу... Вот и выходит, что и тип тот еще сидит, обвязанный салфеточкой, и яичко не остыло, и Посланник не профессор вовсе, а студент – обыкновенный студент, которому не досталось места в общежитии. Хоть на вокзале ночуй! И ночевал бы, если б не чудаковатый сверстник, вдруг поведавший с улыбочкой, что снимает под Москвой небольшой домишко. Совсем небольшой, хибару, можно сказать, но сунуть раскладушку есть куда. «Поедем, если хочешь...» И улыбочка, вдруг проступившая, как проступает изображение на рентгеновском снимке, тоже не исчезла – живет. И женщина со змейкой – не доцент еще, а юная аспирантка, портрет которой набрасывает карандашом вдохновенный соученик. «Надеюсь, – слышит, –

мне подарят его?» «Зачем? Муж и так видит тебя». «Не видит... Теперь уже не видит». Рисовальщик обескуражен – обескуражен и даже испуган слегка – не ожидал такого поворота. «Но сына-то, надеюсь, навещает?..» Он жив, этот карандашный набросок, заперт вместе со мной на два замка, забыт, беспомощный и бесполезный, как беспомощны и бесполезны все на свете портреты и фотографии с их комичной претензией удержать то, что и не собирается исчезать. Да и куда? Некуда... Я хорошо ощущаю это, вслушиваясь по ночам в бой Совершенномудрого, каждый удар которого бесконечно мал по сравнению с вечностью и, следовательно, равен ей. Бесконечность-то едина – будь то бесконечность малого или бесконечность большого. Три-а не умер – люди вообще не умирают, о чем, в общем-то, догадываются, только не в силах осознать и оттого награждают собственным бессмертием выдуманных богов.

А коли смерти нет, то нет, получается, и рождения?..

Ах, Стрекозка! Как, интересно, развяжет юбилейный узелок мой кудесник?

Едва на кафедру войдя, набирает номер Дизайнера. Долгие гудки, которые, конечно же, не прервутся: когда в этот час мастер бывает дома!

«Поедем, если хочешь». И все, и ни слова больше. «Прямо сейчас?» – «Прямо сейчас». О том же, какой у него нынче день – ни звука, и лишь когда добрались, когда загудела печурка, когда вырубил свет и гость произнес, вслушиваясь в шорох дождя: «Как в бабушкином сундуке», – признался: «А у меня сегодня день рождения».

Снова номер Дизайнера набрал – не домашний на сей раз, служебный. Так называемый служебный: лишь за жалованьем хаживает сюда.

– Константин Евгеньевич, – прожурчало в трубке, – в «Кашалоте».

– Где-где?

– В «Кашалоте». Фирменный рыбный магазин.

– Спасибо, лапочка. Это, наверное, у черта на куличках?

– Новогиреево.

– Я так и думал. И телефона, конечно, нет.

– Пока нет. Объект не сдан еще.

– Вы – прелесть. Я целую вам ручку.

Не судьба, стало быть. Но ничего, он не в претензии. Он вообще не сутяга по натуре (чего обо мне, увы, не скажешь) и, если уж с Пропонадом находит общий язык, то с небом и подавно не желает заводить тяжбы.

– Буду, – предупреждает лаборантку, – к Ученому совету! – И, захватив «дипломат», идет, быстрый и легкий, в легких туфельках по опустевшему коридору. В глаза солнце бьет, но уроженец юга не отворачивается. Загородившись ладошкой, всматривается в фигурку на подоконнике. Неужто Русалочка? Сей укромный пятачок отведен Пропонадом специально для курения, но, во-первых, перемена закончилась, а во-вторых... «Ты куришь?» – осведомился раз папаша-демократ у своей музыкальной дочери, хотя твердо знал: нет, не курит. Однако не удивился, услышав: «Курю, папуля. Курю...»

Да, она на подоконнике, сторонница третьего пути.

– Теперь понятно, – уличает профессор, – почему вы опаздываете на лекции.

Нашарив босой ногой соскочившую плетенку, Русалочка медленно подымается.

– Извините...

– За что? – изумляется демократ. – И сидите, ради бога, сидите! То есть можете идти, конечно, потому что лекция началась, но можете и сидеть.

Мысленно же прибавляет, шалун: я ведь не проректор по надзору.

– Спасибо.

– Спасибо вам! За вашу активность... Мы, правда, так и не dospорили...

– Я не спорила...

– Но в принципе, – подымает миролюбивый атташе палец, – я с вами согласен. Серединный путь всегда лучше крайних.

– Соловьев не о середине говорит.

Профессор откидывает чубчик. Ох, уж этот Соловьев! Он нынче что Алла Пугачева, а вот, к примеру...

– Секст Эмпирик – слышали о таком? – Солнце, как мощный юпитер, освещает моего артиста. – У нас этот античный философ, к сожалению, почти не известен. Но есть замечательная книга о нем – пока, увы, не изданная. «Шестой целитель» называется, Секст – шестой, Эмпирик – целитель. Хотя, – спохватывается, – что я! Вы ведь у нас полиглот.

На пальчиках, что торчат из плетенок, розовеют ногти. Педикюр? А на вид – скромница, школьница. (И глазки потуплены.) Но школьница – упрямая, Школьница, которая все-то знает про своих учителей.

– Эмпирика не читала.

– Прочтите! И его, и о нем. Надеюсь, книжица появится. – Посланник сделал паузу. – Ее автору, – понизил он голос, – исполнилось бы сегодня пятьдесят.

Глаза подымаются – небольшие, с воспаленными веками глаза, в которых нет ничего русалочьего. Просто больна... Не сейчас – вообще больна. (Хотя, наверное, и сейчас тоже.) Полсеместра не ходила в прошлом году – спокойное было времечко.

И зачем только завел этот никчемный, этот опасный разговор! (Чем? Чем опасный, хозяин?) Прошел бы себе мимо...

Опустила наконец очи. И сразу легче задышалось, веселей, а в распахнутую форточку влетела с тяжелым жужжаньем праправнучка тех, кого пестовал некогда вениковский умелец.

– Наш выпускник, между прочим.

Пчелы сегодня преследуют его с самого утра – к чему бы это? (Запомнили-с, хозяин! Если вы о существе, что стукнулось утром о стекло лимузина, то там не пчела была – шмель.)

Вновь подняла близорукие свои глаза и, чуть сощурившись, посмотрела... Не на него – если б на него! – *сквозь*. Почти как внук утром.

Бинокль, любимая улада стареющего узника, выпал из рук, он вздрогнул и отшатнулся. Поздно: взгляды наши встретились. Тюремщик, перетрухнув, что-то о вреде табака понес, о дочери, которая тоже курит, мерзавка...

– Ладно, барышня. Не буду мешать вам. Но на лекции, – погрозил игриво, – лучше не опаздывать.

И – прочь поскорей, прочь, к лимузину, который помчит сквозь солнце и пчелиные траектории туда, где решается судьба «Шестого целителя».

Лица нет, что-то темное вместо лица – испуганный малыш прижимается к матери (значит, мать жива еще), и никто почему-то не объяснит ему, что это всего-навсего пасечник. (Три-а объяснил... Но когда?!)

А может, не пасечник? Почему ульев не помнит? Почему не помнит пчел? Вот черных птиц – тех помнит: и в небе, на фоне белой колокольни, и внизу, на белом снегу, хотя, если разобраться, вовсе не птицы это, а обыкновенные семечки. Высвободив руку из теплой ладони, малыш опускается на корточки, близко, внимательно рассматривает. Мать вверху тихонько смеется. Наверное, сморозил что-то, но что – затерялось во времени. И слова затерялись, и голос, а смех все кружит да кружит вокруг поселка Грушевый Цвет.

Посланник – тот не слышит смеха. Это ведь аномалия – слышать канувшее в небытие, а он как истый спартанец терпеть не может аномалий, будь то обыкновенный насморк, бессонница (я бессонницу переносу спокойно), веки Русалочки – воспаленно-красные, с редкими ресничками, или пергаментная прохладная кожа Кафедры Иностранных Языков. Ох, старики! Всегда ненавидел запах тления, а от них исходит именно этот запах... Философствовать – зна-

чит учиться умирать? Чепуха! Философствовать – значит учиться жить, вот девиз доктора диалектики. «Так говорил Заратустра?» – обронил Три-а с рентгеновской улыбкой. «Ничего п-подобного, – заморгал глазками доктор диалектики. – Нищие агрессивен, а я, ты знаешь, не люблю агрессивности».

То был камушек в мой огород, но – мимо, мимо... Ибо хоть и сварлив я по натуре, и угрюм, и ехиден – не отпираюсь! – но агрессивности нет во мне. Просто не бросаюсь в объятия первого встречного, что, впрочем, не такая уж добродетель для запертого на два замка.

Я не обижаюсь – хоть на три! Пусть объединяются, пусть сливаются, пусть прорастают друг в друга, что, полагает Дизайнер, есть залог обновления, ибо, взятый в отдельности, человек неизменен – новы лишь комбинации («Особенно с женщинами», – подпустил ироничный атташе), – пусть, мне и одному неплохо. Пусть *диффузируют*, как выразился однажды мой интеллектуал. (По поводу заведения, к которому летел сейчас сквозь солнце и пчелиные траектории.)

Выйдя из машины (ровно в два: «Маяк» играл позывные), нырнул с пакетом яблок в подъезд. Пахло известью, опилками (люблю запах разделяваемого дерева), бумагой и апельсинами. Во всяком случае, чем-то тропическим, как и должно быть в учреждении, которое, с одной стороны, выпускает книги, а с другой – что-то там координирует в районе экватора. (Кажется, бурильные работы. Мне в Грушевом Цвету помогал со скважиной глухонемой сосед.) Раньше издательские и тропические ведомства жили хоть и под одной крышей; но в разных комнатах; ремонт перемешал всех – тут-то, по выражению любителя бирочек, и восторжествовал подлинный симбиоз: за одним столом прояснялись темные места из аристотелевского толкования души как энтелехии тела, за другим, рядом, вырабатывалась тактика защиты провизии от обезьян...

Лавируя между шкафов, столов и опрокинутых стульев, Посланник жизнерадостно здоровался как с книгоиздателями, так и с тропическими бурильщиками.

– Из собственного сада? – спрашивали его, показывая глазами на яблоки, и он с гордостью подтверждал:

– Из собственного!

Угоститься предлагал, но настаивать не настаивал. Лишь раз, преградив дорогу загоревшей толстухе, извлек краснобокий плод.

– Прошу!

На смуглом лице сверкнули зубы.

– Большое спасибо!

Склонив набок голову, любовался дамой. Потом заговорщицки поманил пальцем. Шоколадное ушко приблизилось.

– Вас они переманили? – прошептал мой любезник.

– Они? Кто они?

– Мастера тропического бурения. А где еще, скажите на милость, можно загореть так?

И все, и мадам счастлива, и плод, дело рук моих, забыт, а ведь вырастить его – не комплимент сказать, труда здесь требуется поболее. (Мне, впрочем, угрюмому молчуну, легче вырастить.)

– Вы насчет своей рукописи?

– Ну что вы! – засмеялся такой наивности и такому незнанию его доктор диалектики. – О своих делах я предпочитаю помалкивать.

Обсуждая переменчивый, как погода на экваторе, курс тамошней валюты, мимо протиснулись бочком две тропические бурильщицы. Мой спортсмен, и без того поджарый, сделался на миг совсем плоским. Смирненно ждал, пока меркантильные голоса стихнут.

– Сегодня, – произнес, – пятьдесят лет Астахову. Боюсь, вам это имя ни о чем не говорит.

– К своему стыду...

– Не к вашему! В том-то и дело, что не к вашему... К моему!

И тон (сдержанный), и выражение лица (скорбное), и спавший на лоб чубчик (с сединой), который он не откидывает как обычно, дают понять, что разговор сей – не из приятных.

Посланник не притворяется. Ему действительно неприятно, а все, что неприятно его светлости, спихивается на меня – его, если угодно, темность. Я, правда, не разглагольствую о Три-а – мне в моем замке разглагольствовать не с кем, – но я о нем думаю и думаю часто. И «Шестого целителя» не перелистал за дегустацией орехового варенья, что презентовали супруге кавказские театралы, а аскетически проштудировал страницу за страницей.

Яблоко, опущенное было в знак уважения к неведомому Астахову, вновь взлетает и пружинисто покачивается на ладошке. Достаточно ли, прикидывает, весома эта нечаянная дань или можно разжиться еще чем-либо?

Можно...

– Не посоветуете, где достать билеты на «Тристана»? Говорят, замечательный спектакль. – Яблочко же вниз потихоньку, вниз, дабы не напоминало, что уже облагодетельствована нынче.

– Я поговорю с женой.

И завязывает мысленный узелок, уже второй на сегодня. (Первый: угостить яблоками Кафедру Иностранных Языков.)

Русалочкин философ утверждает, что если у нас тут, внизу, среди человеческой круговерти, среди смеха, плача, автомобильных гудков, среди запаха опилок и чернозема, который я таскаю ведрами из ближнего леса, – если внизу все раздельно и подлинного единства нет, есть лишь понятие о нем, *идея*, то наверху царит именно единство. (Всеединство – уточняет русалочкин философ.) Отражаясь в небесах – или, напротив, увиденное с небес, – одним целым становятся издатели и тропические бурильщицы, гаишники и шоферы, студенты и профессора. Но это там, наверху, здесь же если и соединяются, то лишь в симбиозе, всеобщую теорию которого еще предстоит создать. Пока у моего диалектика не доходят руки, но материал собирает. Вернее, собираю я, его секретарь. Вот Три-а и вот Стрекозка (симбиоз еще более удивительный, нежели издательско-тропическое ведомство), вот Посланник и вот Затворник (а что? ладим...), вот пасечник Сотов, при виде которого малыш со страхом прижимался к матери... Или не пасечник? (Почему ульев не помнит? Почему не помнит пчел?) Не только пасечник, а и *некто* еще, являвшийся, когда матери уже не было рядом, а было твердое и длинное, как доска, слово «покойница». В городе жил малыш, у тетушек с китайскими именами – как нервничали они, приметив за окном темную, без лица, фигуру!

– Обедали? А то милости просим!

– С удовольствием. С п-превеликим, – позаикался слегка, – удовольствием. На это, признаюсь, и рассчитывал.

Правду говорил. (Посланник всегда говорит правду.) Быть в Симбиозе и не пообедать! Скромно поставив на подоконник пакет с яблоками – десертик! – в столовую отправился с щебечущей стайкой – уже не гость, уже кавалер. Вот вилочки, вот ножи, а подносики, извольте, заберу... Сел, наконец, дамский угодник, оглядел стол, пальчиком усы пригладил.

– Ну-с! С чего начнем?

И начал, шалун, с ананасового компота, признавшись чистосердечно, что с утра гурманничает: уплетал с внуком сливки.

– У вас внук? – удивляется одна из дам, маленькая и светленькая, усатенькая, похожая на мышку.

– А вы думали! Я уже старый человек.

Мышка усмехается. (И зубки мышинные, мелкие.) Усмехается, но возражать не возражает, принимается грызть – по-мышинному – желтый, просвечивающий на солнце сыр. Посланник, слегка задетый за живое – не опровергли, что стар! – тоже за закуску берется, а деликатес из экваториальных широт отставляет. Ах, тропики! И еда – тропическая, и деревце в кадке (лимонное; на листиках солнце играет), и девочки за соседним столом – цветные все, яркие, с голыми руками. Похрустывая огурчиком (огурчики отечественные), гурман любит исподтишка голой шейкой. Мой бинокль тоже скользит по ней, но лишь скользит, не задерживается. Вот Дизайнер – тот оценил бы по достоинству, но Дизайнер далеко, «Кашалот» расписывает, предвкушая, как славно посидят вчетвером.

А если б, пугается Посланник, прыткая Стрекозка разыскала бы его накануне! А если б чудом дозвонился Дизайнеру!

– Сегодня, – сообщает, придержав вилку, – пятьдесят лет Астахову.

Редакторша – его редакторша, женщина добрая и хозяйственная (отличные носки вяжет), перестает жевать.

– Пятьдесят? Я думала, он старше.

– Увы! Боги своих любимцев забирают молодыми.

Мышинные глазки – зырк в его сторону, зырк.

– Это тот, что о Секст Эмпирике написал?

– Он самый.

– Господи! Да кому нужен сейчас Секст Эмпирик!

– Никому! – соглашается профессор. – Никому... Но книжка-то знаете как называется? Не «Секст Эмпирик», нет. «Шестой целитель» называется книжечка. А это уже – вы ведь люди опытные, вы знаете! – это уже не просто книга, это уже товар...

– Товар, на который не будет спроса.

– Не скажите! – взмахивает вилок доктор диалектики. Вообще-то манеры у него хорошие – в отличие от меня, – но больно уж увлекающаяся натура. За что и любят его. (Меня не любят.) – Не скажите! Книга, согласен, малоактуальна – в конъюнктурном смысле слова, – но это ее главное достоинство. Согласны? – мазнув взглядом по смуглой шейке, апеллирует к редакторше.

Редакторша молчит и молчит грустно. (Зато тропические девочки веселятся вовсю.)

– Может, у него есть что-нибудь другое?

– Ничего! – отрезает Посланник. – Если б у него было что-нибудь другое, то это был бы уже не Толя Астахов, а... Вот у меня, – кается, – есть.

– С вашей рукописью, – констатирует хозяйственная женщина, – все в порядке.

– Потому что я не Астахов. Я – Посланник.

– Кто-кто? – вскидывается мышка.

– Посланник! – объявляет мой атташе. – Посланник... Так звал меня Астахов, когда утешить хотел. Я нагрешу, бывало – я ведь грешен – о-о, грешен! – а он: не падай духом, старче! Да как же, говорю, не падать, если я, сукин сын такой... Ты не сукин сын, отвечает. Ты – Посланник.

– Божий, что ли? – тянет носик вверх неугомонная мышка. – В евангельском смысле?

– Божий! Разве я похож на Божьего? Отпетый материалист, который тем и зарабатывает себе на хлеб насущный. А иногда, если пофартит, и на ананасовый компотик. Вот и редактор мой говорит, – снова вовлекает в беседу хозяйственную женщину, – что у меня все в порядке. У Астахова – не в порядке, на Астахова, видите ли, бумаги не хватает – на него всегда чего-то не хватало, – а для моего сочинения, слава тебе господи, бумага есть.

– А вы бы уступили свою позицию, – раздается мышинный, с дребезжанием, писк. Это она смеется так, ехидная грызуниха, и все тоже смеются, совсем как тропические девочки. (Посланник бросает взгляд на шейку.)

– А что? – Он серьезен. – Коли это возможно...

– Почему же нет! – изгаляется грызуниха. – Если официально попросите...

– Прошу! Официально! – И обводит глазами стол, но уже не как любитель ананасов, а как лицо юридическое. – Надеюсь, наше собрание достаточно представительно.

– Еще бы! – ликует хвостатая.

– В таком случае ответственно заявляю: прошу перенести мою рукопись на следующий год. Живые подождут! А освободившуюся позицию отдать Анатолию Александровичу Астахову. Достаточно? – И смотрит сверху на загнанную в угол мышь – большой, сильный, холеный кот, у которого топорщатся усы и трепещут от возбуждения ноздри.

Тропические девочки заливаются, но что ему сейчас тропические девочки! Что ему шейка (шейка прелестна), что Дизайнер и праздник вчетвером! Сейчас же, не заезжая в Колыбель (успеет к Ученому), отправится в «Кашалот» и известит земляка, который от удивления выронит кисть, что сегодня, увы, занят.

На пиалу с ананасовым компотом садится пчела. И ты здесь, родимая? Летают пчелы, звенит посуда – как фанфары, сияет тропическое солнце, и на тропическом дереве золотится плод. Я люблю Посланником – да, люблю, хотя понимаю, мудрый, как хвостатая искусительница, что послан он вовсе не тем, о ком толковал с рентгеновской улыбкой на лице обреченный философ.

В коридоре диалектика догоняют.

– Послушайте! Вы серьезно?

– Еще как! Если н-надо, могу официально написать, что отказываюсь. Надо?

– Нет-нет! Писать ничего не надо. Но, ради бога, подумайте хорошенько. – Хозяйственная женщина! Практичная женщина! – Секст Эмпирик в конце концов не уйдет, а ваша...

– Вы – чудо! – перебивает учтивейший из авторов. – Мне повезло, что у меня такой редактор. Но еще больше повезло Три-а. Это я так, – сообщает доверительно, – Астахова зову... Я звякну! – И, чмокнув пухлую ручку, устремляется между опрокинутых столов к выходу.

Признаюсь, не ожидал от педанта такой прыти. Не ожидал, хотя он, конечно, скрывает, что педант, что душа его улыбается, когда он отчаливает – или причаливает! – на бесшумном своем корабле ровно в такой-то час, под аккомпанемент «Маяка», лучшей музыки в мире, скрывает, что старомодно обязателен и обязательность эта доставляет ему массу хлопот. Вот и сегодня два узелка вспухло: яблоки для Кафедры Иностранных Языков и билеты на «Тристана».

Запустив двигатель, проворно очки надевает, бросает на часы быстрый взгляд, но не ждет счастливого расположения стрелок – нет, не ждет, – срывается сразу. Так-с! Протерев биноклик, устраиваюсь поудобней.

Если глубокой ночью, когда спит безмятежно поселок Грушевый Цвет, когда ненадолго затихает железная дорога и даже собак не слышать, а набегавшийся, вернее, наездившийся за день Посланник дрыхнет без задних ног, – если в этот укромный час поднапрячь слух, то можно различить умолкшие давно голоса, шелест листвы, многократно созревшей (перегнившей, снова возвращается в зеленые кроны), узкий шорох велосипедных шин... Можно различить скороговорку китайских тетушек, всполошившихся при виде пасечника за окном, и шуршанье задерживаемой шторки, и легкий стеклянный звон в буфете, за который прячется перепуганный малыш. (Ибо по его душу, знает он, явился человек без лица.)

Буфет стоит посреди комнаты, разделяя ее надвое, и помогает ему в этом ширмочка, которая постоянно перемещается. То в одну сторону, то в другую... Но ширмочка – ладно, тут особой ловкости не требуется, а вот как тощие, сухие, плоскогрудые воблы, причем не в паре, а каждая по отдельности, да еще украдкой, исхитряются сдвинуть с места массивный буфетище?

Посудой набит он, цветными коробочками, пачками соли, склянками, а также наволочками с крупой. На каждой пачке и на каждой наволочке красуется выведенный химическим

карандашом вензель: Ли (с точкой) и Лю (тоже с точкой – знак сокращения). Лишь на бумаге, какой закатываются банки с вареньем, имя выводят полностью, сразу превращаясь из таинственных китаянок в русских баб. С годами надписи выцветали, а варенья покрывались плесенью: за зиму не съедали все, летом же тем не менее варили новое, бдительно следя друг за дружкой: упаси бог, если Ли заготовит больше Лю!

Старинный, изъеденный древесным жучком буфет, который фигурирует в моих бессонницах как буфет *китайский*, тоже был предметом распрей. И так ставили его, и эдак, но все равно, чтобы взять что-либо или что-либо положить, какая-то из сестер ступала на вражескую территорию. Делать нечего, пришлось две или три дверцы наглухо запереть, а в задней стенке проломить дыру. Во дни перемирия ее заделывали картонкой – о, счастливые, хоть и недолгие дни! – но едва военные действия возобновлялись, буфет опять работал на два фронта.

То же самое – племянник. Ни в коем случае, усвоил пострел, нельзя передавать тетушке Ли дурных отзывов о ней тетушки Лю (и наоборот), а вот о хороших информировать надо. Не специально, а как бы мимоходом, к слову. Никогда не поддакивал, если одна сестрица, гневно косясь на шкаф, говорила о другой плохо, защищать же – защищал. Тоже мимоходом вроде бы, тоже к слову, на ощупь пробираясь: ничего? Можно?

Иногда оказывалось: нельзя, рано еще. Тетки сердились, вернее, начинали сердиться, юный же миротворец, слышав глухой вздымающийся гнев, виновато глазами хлопал, вздыхал и сжимался. Вот какой он еще маленький! Вот какой он еще глупенький! Гнев опадал. Не обрушивался, как обрушивается с грохотом океанская волна, достигнув критической точки, а именно опадал, оседал, изливался ворчливо безобидной струйкой.

Это мирное журчание тоже не сгнуло во времени; как и *прежние* голоса, его можно обнаружить в пространстве грушецветной ночи, только что Посланнику и голоса эти, и журчание! На другие звуки, дневные, настроено чуткое ухо автомобилиста...

Притормозив, спрашивает у женщины («Я предпочитаю иметь дело с женщинами»), не знает ли она, где здесь рыбный фирменный магазин. Новый. «Кашалот» называется.

Не сельдью пахнет, не копченостями и не морской капустой, а сухими кукурузными стеблями, что вытянулись у стены небольшим штабельком. Посланник с беспокойством осматривается – туда ли попал? Кажется, туда: посреди зала громоздятся друг на дружке белые витрины-холодильники, еще мертвые – под стеклом бумага желтеет.

– Э! – бросает в пространство, а взгляд задерживается на новенькой телефонной кабине, тоже мертвой: вместо аппарата торчат, как бараньи рожки, розовые провода. – Э! Есть ли кто живой?

– Никого... – Дизайнер, его голос. – «Проктит», – прибавляет загадочно.

– «Проктит»? – Другой голос, незнакомый. – Это еще что за зверь?

– Хищный, Сережа. В заднице обитает.

Профессор морщится. Не любит профессор вульгарных слов, но – делать нечего! – плывет на звуки человеческой речи.

Два обглоданных рыбьих скелета – две стремянки – высятся в залитой солнцем комнате. На одной – тазик вверх, сияет празднично, на другой белеет, как одинокий парус, бутылка с молоком. Внизу сидят на стремяночных ступеньках друг против друга товарищ юности в вельветовых брючках и рыжий детина в синем комбинезоне. На полу между металлических ножек – доска с фишками.

– Приветствую, – вскидывает диалектик руку, – мастеров скрэбла!

Дизайнер пружинисто подымается.

– «Стяг», – бросает напарнику, гостю же протягивает маленькую вялую ручку. «Что случилось?» – вопрошает взгляд.

Профессор берет товарища юности за локоток в замше (замша тонка, мягка: чудо – выделка!), а человека в комбинезоне одаривает улыбкой.

– Не рассердитесь, если на секунду умыкну вашего соперника?

Вдохновенный игрок не слышит вопроса.

– «Иммунитет», – делает ответный ход. – С двумя «эм».

– «Макрель», – парирует Дизайнер. – С одним «эм»... Беру, – объявляет, – тайм-аут. –

И тихонько увлекает приятеля из стремяночной. – То Сережа, специалист по холодильным установкам... Вот этим как раз, – барабанит костяшками пальцев по витринам, которые гулко отзываются пустотой, солнцем и будущим инеем. Сам же продолжает пытливо всматриваться.

Посланник смиренно информирует, что приглашен на день рождения.

– К ректору? «Макрель» с одним «эм»...

– Ректор перебежится, – не принимает вызова миролюбивый атташе. – Сегодня пятьдесят лет Три-а.

Замшевые, под цвет курточки, брови лезут вверх. Подпрыгивает, садится на выступающий край витрины, ножками болтает.

– Тра-та-та, – поет. – Тра-та-та...

– Тра-та-та, – соглашается Посланник.

Ножки замирают.

– Но ведь они приехали уже. Звонили утром.

– Надеюсь, – улыбается доктор диалектики, – на супругу не попали? Или они звонили из этого телефона? – Показывает на кабину с розовыми рожками.

Дизайнер не реагирует. Поверх кукурузных стеблей глядит, на голую стену, которую еще предстоит расписать салакой и золотыми кальмарами.

– Стрекоза была утром, – делится чистосердечный профессор. – Устраивает вечер памяти... А у меня, – кается, – из головы вон.

Правдив и смиренен. Таким любят его добродетельные коллеги, а я, признаться, не люблю, мне скучно. Куда, право, занятней наблюдать, как охмуряет гаишника (груши! груши были бесподобны), как играет с рвущимся в профессора специалистом по надзору (сорок минут до Ученого совета), как, респектабельный автор, прыгает, к ужасу хозяйственной редакторши, в омут самопожертвования.

– Она кто сейчас? Блондинка?

Доктор в недоумении. В недоумении доктор, но – миг, один только миг, не дольше. У него быстрый ум – не чета моему! – а вот наблюдательность, в которой моя темнота не уступает его светлости, дала на сей раз осечку. Хорошо помнит, как наклонялся к крашеным волосам, помнит аромат французских духов – о, Париж! – цвет же, хоть убей, не запечатлился.

– Да вроде бы, – фантазирует, – такая же как всегда.

– Всегда... – По губам художника скользит улыбка. – Она всегда разная.

И тут, к моему, каюсь, удовольствию, джентльмен и диалектик не удержался.

– Тебе, – молвил, – лучше знать.

Друг юности принял удар не поморщившись. Вот только глаза, что высматривали на голой стене золотых кальмаров, немного сузились.

– «Атрибут!» – завопил незримый Комбинезон. – «Атрибут», слышишь?

– Слышу, – тихо ответил знаток бывшей триановской жены. А затем гаркнул – да так, что я вздрогнул в своем убежище. – Сдаюсь! Считаю бабки!

Посланник – тот не вздрогнул; стоит, усики поглаживает.

– Ничего, – утешает, – сэкономишь на сегодняшнем вечере.

– Столик заказан... На четверых.

– Тогда изволь! – И за бумажником лезет, но приятель покачивает отрицательно головой.

– Они ведь приехали уже...

– И звонили, – подхватывает развеселившийся атташе. – С Ленинградского вокзала.

Мастер дизайна спрыгивает с витрины – упругий, как мячик, и, как мячик, бесшумный. Вот разве что не подскакивает, а словно бы приклеивается к выложенному плитками полу.

– Представь себе, с Ленинградского! А вчера я звонил. И позавчера... А теперь что? Прикажешь объявить: пардон, девочки, все отменяется, нынче у моего друга более важное торжество?

– Во-первых, – мягко уточняет профессор, – не торжество. А во-вторых, действительно важное.

Сунув руки в вельветовые кармашки, художник подымается на носки – невысокий, зато упругий, жилистый, в затвердевшей, как кольчуга, замше. В глазах с тяжелыми надбровьями (женщины любят такие) играет зеленый огонь.

– Ты прав, дядя. Три-а чмокнул бы тебя в лоб.

– А ты?

– А я – старый, задрипанный потаскун, которому не за бабами волочиться, а пить кефир. Что я и делаю.

– Вижу... На стремяночке стоит.

– То не кефир. То молоко за вредность... Итак, что прикажешь сообщить ленинградским мадоннам?

Сам же пружинится, растет – дымок, дымок курится над раскалившейся головой. Мой пожарник, остужая, ласково обнимает приятеля.

– Ну, будет, землячок, будет. Что-нибудь да скумекаем. В котором часу у нас?

Пружина замирает, но не расслабляется, ждет.

– Не валяй дурака. Ты отлично помнишь: в восемь, у «Скоморохов».

– Помню, землячок, все помню. Только, Христа ради, не дымись. А то сгоришь, как Три-а, и мне без тебя будет скучно.

Вот теперь расслабился.

– Значит, все, как условились?

– Разумеется! Ты ведь знаешь – я человек надежный.

– Еще бы! – Опал, обмяк, и звонкая кольчуга превратилась опять в тихую замшу. – Изучил как-нибудь за тридцать лет.

За тридцать три! В сентябре, уточняю (секретарь все-таки), исполнилось тридцать три, как увидели друг друга. Сидели, безымянные, в заднем ряду – бабушка Рафаэль, устанавливая гипсовый бюст, предложила еще перебраться поближе.

Отказались... Пусть другие поближе – им и здесь хорошо. Смолоду уступать умели – и уступать и отступать, что хоть и не совсем одна и то же (теоретизировал впоследствии оформитель «Кашалота»), но – родственно.

– А Три-а? Может, – осеняет творческого человека, – на кладбище смотаемся? Прямо сейчас? Ты на колесах?

О, великое искусство отступления! О фельдмаршал Кутузов! Не зря кольчугой чуть что оборачивается замша на груди – Комбинезон еще расшибет об нее лоб.

– Смотаемся. Только не сегодня. Через двадцать семь минут, – на часы глядит, – у меня Ученый совет.

– А после?

– После я должен заскочить в одно место. Тоже к вдове, кстати говоря.

– Молодой?

– Относительно. Восьмой десяток разменяла. Славная, между прочим, старуха. – Не без некоторого пафоса, что означает: не иронизируй, землячок! Это серьезно. – Кукурузка-то зачем? – кивает на желтые стебли. – Для хижины рыбака?

Дизайнер уклоняется от ответа – секрет мастера. Все в дело идет: пряжки для женских поясов, погоны, деревянные катушки из-под ниток, пластмассовые разноцветные расчески,

консервные крышки – как из белой жести, так и желтой, шифер, битое стекло и целехонькие бутылки. Другие профессионалы канючат: вынь да положи им оформительского деликатеса, желательно импортного, а фельдмаршал обходится отечественным мусором. (За исключением, разумеется, собственной квартиры.) Тем заковыристей его антуражи. Тем ошеломительней витрины и эффектней панно, не говоря уже о прохладной, с крашеными полами террасе в Грушевом Цвету, которую друг юности – в порядке презента на дачное новоселье – загримировал под кавказскую саклю. Кинжал, подковы, конское седло... Мой дуралей улыбался да поцокивал языком – почти гарцевал, горец с усиками.

– Итак, в двадцать ноль-ноль, у «Скоморохов».

Горец! Настоящий горец!

Гарцевать-то гарцевал, но не прошло недели, как вся кавказская дребедень переехала на чердак, куда его светлость предпочитает не заглядывать. Слишком темна, видите ли, лестница. Слишком узка... А я ничего, вскарабкался – лишь поскрипывало седло в руках да позвякивали подковы и прочий сценический реквизит. Не люблю театра – да простит меня посланникова супруга. (И дочь тоже.) Не люблю *их* театра: шкатулка какая-то, искусственный свет, пять-шесть лицедеев... То ли дело – мой, с гигантской сценой на миллион актеров и единственным зрителем!.. Не люблю театра и рафаэльства не люблю – предпочитаю живопись без холста и кисти. Особенно по вечерам, когда разбухшее солнце грузно опускается за макушки сосен, черных на фоне жидкого металла. (Это тебе не золотые кальмары!) Утром – иная подсветка, и сосны иные, тоньше и ниже, будто помолодели за ночь, и иные – как после дождя – запахи, хотя не было никакого дождя, земля суха, лишь на траве и кустарниках блестит роса. По-иному звучат в разреженном воздухе птичьи голоса, и даже усталые комары жалят по-иному, не так больно, а другие насекомые, потяжелее, еще только пробуждаются. Спит и хозяин мой, я один, без надзора, но скоро мой тюремщик продерет глаза. Прыгать начнет, махать руками, приседать, вращать туловищем, а после обливаться, фыркая, ледяной водой... По-иному скрежешут ключи в замках, на которые он, уезжая, запирает меня: вечером, когда открывает, не слышно уже в этих металлических звуках утреннего страха опоздать. (Пятнадцать минут до Ученого совета. Посланник прибавил скорость.)

Я не сучаю, оставаясь. Мне хорошо одному, мне вольно, я чувствую себя в безопасности. Замки надежны – уж я-то знаю, как надежны замки, потому что врезал их собственными руками. (Все три. Но он, лукавец, запирает на два.)

Не просто прибавил скорость – превысил, хотя имел уже неприятность с гаишником. И все равно опаздывает! Не он один – вон с развевающейся сивой бородой шкандыбают на подагрических ногах еще один член Ученого совета... Обогнал Бороду – ну, стервец! – но вспомнил про соглядатая с бинокликом и резко – аж колодки пискнули – затормозил. Перегнувшись, распахнул дверцу. Борода не сразу скумекал, что ему распахнули, но пригляделся, сощурившись, узнал коллегу, широко руками развел.

– Батюшки! Вот удача-то, а! Разрешите воссесть?

– Сочту за честь, Иван Филимонович.

– Ну, спасибочко. Ну, выручили! Я бы, старый хрыч, еще час целый телепался.

Втиснулся, кряхтя громко, охая – точно из незримой паутины выбирался. (Или из собственной бороды.) Посланник захлопнул проворно дверцу, накинул ремень на пассажира.

– О Господи! – запричитал дед, мягко отброшенный на спинку сиденья. – Как в аэроплане... Не опоздаем?

– Опоздаем, Иван Филимонович! Непременно опоздаем.

– Да вы что, дорогуша! Я отродясь не опаздывал.

– Всегда опаздывали, – резвился мой весельчак. (От радости, понимаю я. От радости: доброе дело сделал.)

Старик повернул плешивую голову.

– Неужто всегда? – Потеребил в честной задумчивости бороду, которой еще год назад и в помине не было, к семидесятилетию отрастил, и признался как на духу: – Вы правы, был грех. Был, был, и не раз... Но ведь и вы, – погрозил пальцем, – тоже!

Наговор! Чистой воды наговор – если, конечно, сегодняшней лекции не считать, когда из-за Стрекозки задержался. Но спорить не стал, покаялся:

– И я.

– А ведь аккуратистом были! Бо-олимпим аккуратистом! Я же вас, хороший мой, еще студентиком помню.

– Спасибо, Иван Филимонович.

– За что? За то, что помню? Да я всех помню. Так что не воображайте, уважаемый профессор, что почитал вас самым талантливым. Никак-с нет, не почитал. И здесь грешен.

– Какой же это грех, Иван Филимонович? Это правда.

– Ой, бросьте! – снова погрозил правдолюбец. – Не гневите Бога. А то ведь рассердится, неровен час.

Бывший студент поправил шоферское зеркальце.

– Талантливым, Иван Филимонович, знаете кто был? Толя Астахов. Помните Астахова?

– Да вы что! – сорвался на фальцет Борода. – Издеваетесь над стариком? Астахова не помнить!

Сивая растительность шевелилась на пухленьком лице, а из сумрака глазниц сверкали, как из грушецветной ночи, окуляры театрального биноклика. Студент еще подправил зеркало.

– Сегодня Толе пятьдесят лет.

Личико сжалось, сморщилось, спряталось в буйных волосах.

– Боже праведный – пятьдесят! А я все еще жив, тухлая кочерыжка. В лимузинах раскатываю...

Впереди молоковоз тащится, бледно-желтая цистерна с четырьмя синими цифрами. Сложив их, Посланник, адепт круглых чисел, получил ровно двадцать. Борода, незряче упершись взглядом в счастливый номер, разглаживал на челе морщины.

– Октябрь?.. Нет, ноябрь. Ноябрь, да! – Но на всякий случай обратился за подтверждением к бывшему студенту. (Любил к молодежи апеллировать.)

– Не могу знать, Иван Филимонович.

– Ноябрь, – закивал сосредоточенный старик, – ноябрь... Или март? Ну, черт с ним, не суть важно. Главное, снег с дождем, а он в клоподавах каких-то, на босу ногу.

– Как Русалочка, – слетело с развеселившегося – круглое число! – языка.

Борода не расслышал: то ли в ноябрь свой уплыл, то ли в март, когда с тяжелого неба сыпался мелкий дождь вперемежку со снегом, под ногами хлюпало, а Три-а (конечно, Три-а! Как сразу-то не сообразил? В досаде на молоковоз – прочь с дороги, прочь! – ударил ребром ладони по сигнальному кольцу), – а Три-а, устремив в пространство небесный взор, шлепал по холодной слякоти в дырявой обуви.

– Вы ведь о Толе Астахове?

– Ась? – встрепенулся Борода.

– Об Астахове говорите? Без носков который?

Старик крякнул, почесал раздумчиво плешь.

– Да носки-то были. Были носочки, были... В кармане!

Что-то забулькало в древней глотке, зазвенело ржавым колокольчиком – смеялся! Смеялся, а биноклик следил: ну-с? Не умора ли?

– В кармане?

– Представьте себе! – И сжал – совсем как Посланник – посланников локоток. – Вытаскивает – это на улице-то, при всем честном народе: вот, Иван Филимонович, имеются носочки. А чего ж, спрашиваю, они у тебя в кармане, а не на ногах? А потому что, отвечает и улыбается... Вы ведь помните, как улыбался он?

– Еще бы!

– А потому, говорит, что в кармане сухо, а там сыро.

Ну-с! Не умора ли?

Посланник не засмеялся, однако. Я думал: засмеется – по всем дипломатическим протоколам должен был засмеяться, – а он лишь воспитанно кивнул: согласен, умора, но смеяться не стал.

– Да разве, – возмутился патриарх высшей школы, – можно было так – с его-то здоровьем! И ведь не бедствовал! На башмаки, во всяком случае, заработать мог. Тут, доложу я вам, другая штука. – Набрал полную грудь воздуха, подержал и шумно, прерывисто выпустил. – Не знаю, каково ваше просвещенное мнение, а мое таково: молодой человек сознательно губил себя. Соз-на-тель-но! – пропел старик дискантом, подняв палец.

Молоковоз выбросил красный свет: тормозил. Посланник повернул зеркало, аккуратно сдвинув в сторону ждущее ответа волосатое лицо, и, убедившись, что машин нет сзади, так же аккуратно обошел цистерну.

– А кое-кто, – просипел Борода, – помог ему в этом.

Вновь к зеркалу потянулась медлительно-напряженная рука, вправила на место изгнанную физиономию.

– Вы имеете в виду?.. – И вопросительно смолк.

Путь теперь был открыт, однако на газ не особенно жал, хотя Ученый совет шел вовсю и Кафедра Иностранных Языков вопрошала, потирая сухонькие ручки: где это аккуратист наш?

– Вы знаете, кого я имею в виду. Зна-а-ете, – опять на дискант съехал, – зна-а-ете...

– Жену? Она, кстати, была сегодня.

Борода оскорбленно замахал руками.

– Да вы что! Да упаси меня бог! Этакий грех на душу брать... Чужая семья – потемки. Со своей бы разобраться... Пропонад! – пискнул. – Ваш Пропонад!

Автомобильный ас, расслабившись, прибавил скорость.

– Чего это – мой?

– А чей же? Мой, что ли? – Вы – заведующий кафедрой, он – ваш подопечный. Формально, во всяком случае. Разве нет?

Последний перекресток... Зеленым глазом мигает светофор; проскочим, думает материалист-диалектик, или не проскочим? Если не проскочим, то... Но загадать не успел – махнул на желтый.

– А знаете, – скопил на зеркальце хитрые глаза, – что происходит в данную минуту?

– Да уж ничего хорошего. За дисциплину небось распекает. Пропонад-то ваш!

– Не распекает. Молчит, потупив взор. Ибо, – заговорщицки прищурил око. – обзаводится профессорством. На том самом Ученом совете, куда мы с вами, Иван Филимонович, благополучно опаздываем.

Старик заволновался.

– Я выступлю. Выступлю и скажу все. Хватит, намолчались... Я не о вас – вам жить еще, работать. За женщинами ухаживать... А я уж одной ногой там – пора о душе подумать... Выступлю! Выступлю непременно... Почему мы стоим?

– Потому что приехали.

Но рук не убирал с нагретого солнцем бугристого пластика. На пассажира глядел – тот дергался привязанный к сиденью, словно выбирался из незримой паутины. (Или из собственной бороды.) Глядел как в зеркало – толстое мутное зеркало времени, вот разве что не внука

видел с усами-сливками, не себя *прежнего*, а себя *будущего*. Бородатого паяца, что, потешая публику, пляшет на одной ножке. (Другая – там уже.)

Вообще говоря, к зеркалам мой артист всегда был по-дамски равнодушен. Хоть беглый да бросит взгляд, проходя мимо (вот и сейчас украдкой от Бороды мазнул взором по вестибюльному зеркалу), я же терпеть не могу рассматривать собственную физиономию. Стекло с посеребренной изнанкой, да еще в раме – изобретение обезьянье. Реквизит фокусника из рыночного балагана, иллюзионный аппарат, который имитирует мир, хотя мир в подобных услугах не нуждается. Он сам воспроизводит себя, причем не в качестве призрака, не в виде фантома, а во плоти, с той изменчивостью и теми отступлениями от оригинала, какие отличают подлинник – всякий раз непредсказуемо новый – от послушной копии. Так, яблоня, краснобокие плоды которой развозит по городу мой добрячок, – не просто продолжение вениковского дерева, уже отжившего свое, но еще и плоть дерева несостоявшегося, обезглавленного на третьем году жизни, когда, проснувшись от зимней спячки, слепые и доверчивые корни принялись гнать по тонкому стволу прохладные соки. Увы, чужаку достались они, подкидышу, что, ожидая своего часа, два месяца пролежал на холоде в тающем снегу. Но расплзся, ушел в почву снег, но зашевелилась трава, муравьи забегали и прокололи землю бледные иглы тюльпанов. Тогда теплые руки взяли обеспамятевший черенок, внимательно осмотрели, подрезали и крепко припеленали мочалом к свежей культуре.

Первые же капли влаги привели сироту в сознание. Посвежел, позеленел, засосал что было сил (слабое чмокание нарушило тишину июньской ночи) и наконец медленно расправил почки, зачатые еще там, у заброшенного кладбища в дальнем лесу... Пяти лет не прошло, как вздумал зацвести, но моя темнота выщипала полураспустившиеся бутоны. Нельзя такому малышу, вредно. Пусть подрастет, пусть поднаберется силенок, хотя кое-кому и не терпелось начать раздаривать солнценосные плоды. От своего, разумеется, имени... Вот и Кафедру Иностранных Языков заверяет, что не забыл утреннего обещания. Из чего следует: опоздал, да, но не такой уж, видите, вахлак. «За молоковозом тащились. Вы ведь знаете, как возят у нас скоропортящиеся продукты!»

Впереди и чуть наискосок – женщина со змейкой. В тонких, черных, смиренных заколках волосах белеет ушко. Ах, как притягивает оно моего командора, но командор отворачивается, в декана вперяет взгляд. Что-то о свободном посещении говорит декан и все к Пропонаду обращается, к Пропонаду, который сидит в черном костюме справа от ректора. (Правая рука!)

Снова к Иностранным Языкам наклоняется зоркоглазый наблюдатель. «А с утра-то – заметили? – в голубом был!»

Пергаментным пальчиком грозят Языки: шутник! Ох, шутник! А от самой (Посланник отодвигается) холодком веет – как от вениковской вросшей в землю плиты... Как от тетушки Лю, когда тетушка Лю слегла, чтобы никогда больше не подняться.

Сестра ухаживала – все-таки ухаживала! – но при этом давала понять, что не очень-то верит, будто так уж прижимает. «Да ты, – сердилась, – дыши, дыши!» – «Нечем», – стонала умирающая и показывала рукой, чтобы ее выше подняли. Еще выше. Вот так...

Племянник, как раз приехавший на каникулы, подымал, удивляясь про себя, как тяжела, однако, а сестра подкладывала подушку. И при этом не спускала с угасающей воительницы настороженно-внимательных глаз. «Кипяточку, что ли?» Считалось, кипяток помогает, когда задыхаешься – если понемногу, маленькими глотками... Тетушка отрицательно двигала головой. Упрямылась – значит ничего еще, терпеть можно. И вдруг запросила. Сама! Вскочив, племянник налил из термоса, аккуратно к губам поднес. Большая сделала глоток, и напряженное, темное, с неодинаковыми бровями лицо разгладилось. «А где?...» – произнесла. Имени не

назвала – сестры никогда не называли друг друга по имени, но он понял, о ком она, и объяснил, что вышла, скоро вернется. «Самолет в одиннадцать?» – спросила вдруг тетушка Лю.

Удивленно ответил он, что да, в одиннадцать, но это когда еще будет! В воскресенье... А сегодня четверг. Слышишь, сегодня четверг? «Слышу, – сказала старуха, не открывая глаз. – Четверг». Но сама уже там была, в неотвратимо надвигающемся воскресном дне, когда пахнущий столицей каникулярный мальчик бодро чмокнет ее на прощанье – пока, тетя! – и все, больше не увидятся.

Мальчик не чмокнул. Крадучись уходил, на цыпочках. «Заснула, кажется... Не надо беспокоить». И остающаяся жить тотчас согласилась: «Не надо!» Не только буфет был предметом распрей и дележа – племянник тоже. Каждая следила ревниво, не перепало ли другой больше внимания и любви.

Крадучись уходил, на цыпочках – как уходят из опасного места, где все вроде бы тихо и мирно, больная, впад в забытье, ровно дышит – он постоял, вслушиваясь, – но в любую минуту может грянуть гром. (Как на заседании ученых мужей, что рассеянно внимают про свободное посещение.) Даже в аэропорту, ожидая посадки, с тревогой вслушивался в дикторскую скороговорку. Не задержат ли? Не перенесут? Не придется ли возвращаться под сень китайского буфета и старинных часов, уже давно молчащих, чему он никогда не придавал значения, – молчат и молчат, – но теперь это выглядело грозным предзнаменованием. Минуло несколько лет, прежде чем безымянный и мудрый (Совершенномудрый – коль уж на китайском буфете стоял) хронометр попал в руки Затворника, вдруг обнаружившего в себе талант часовых дел мастера.

Борода сзади пристроился, на откидное сиденье; кто-то вскочил, чтобы уступить место, но демократичный патриарх замахал руками. Посланник не оборачивался – у Посланника отменная выдержка! – но всем телом чувствовал изготовившегося к бою старца. (Так я чувствую в предрассветной тиши и оцепенелость сосен в ближнем лесу, и предсмертное потрескивание вениковских яблонь в дальнем, и голодное скольжение пробудившегося карпа в грушецветном пруду, где мой доктор – нет, тогда еще кандидат! – рыбачил когда-то со своим опекуном и наставником.) Посланник не оборачивался, но слышал, как воинственно крикнул Борода, когда ученый секретарь назвал в качестве соискателя Пропонада и принялся зачитывать анкетные данные.

– А про скрипочку-то ни слова! – ехидничает шепотком Кафедра Иностранных Языков. – Утаил – про скрипочку-то?

– Все мы утаиваем что-то, – обобщает элегический тюремщик и невольно бросает взгляд на женщину со змейкой. Хоть бы один седой волосок! И кожа свежа, как четверть века назад, когда смятенный аспирант запечатлевал карандашом прекрасный образ. И запечатлел, кудесник, остановил во времени; ничуть не постарела за долгие годы, что вызывает у ценителя женской красоты не гордость, а легкую, как ни странно, досаду.

Иностранные Языки зевают: боже, как много бумаг! Но вот, отшелестев последней, секретарь садится. Есть ли, вопрошает ректор, вопросы к соискателю? Не подымаясь вопрошает, ибо уверен: вопросов нет, и тут, как выстрел, хлопает сиденье.

– Разрешите?

Опередил старик!

– Пожалуйста, Иван Филимонович.

– Благодарю вас! – Борода трет ладошкой лоб, вздыхает, губами жует. – Вопросик вообще-то несколько косвенный. Но не совсем... Не совсем... Что имеет сказать почтенный соискатель о некоем Анатолии Астахове, царство ему небесное?

– Астахов? – морщится от напряжения ректор.

– Именно Астахов. Анатолий... По батюшке забыл. Ну, неважно. Анатолий Астахов. Вы не работали тогда, вы не знаете.

– Александрович, – произносит скрипач, приоткрыв губы, но лишь с одной стороны: в длинный вытянутый треугольничек превращается рот.

Борода, отгораживаясь от распахнутых на шумную улицу окон, прикладывает ладонь к уху.

– Ась?

– Александрович. Астахова звали Анатолием Александровичем.

– Прекрасно! – взвизгивает старик. – Замечательно! Такая память – не поведаете ли нам, раз так, о подробностях ухода Анатолия Александровича из аспирантуры?

Черный треугольничек вновь вытягивается, зато все остальное – мертво и непроницаемо, лишь ходят, как в бойницах, сузившиеся зрачки.

– Астахов не учился в аспирантуре.

Сунув палец в ухо, старый шут энергично вертит пятерней.

– Простите?

Треугольничек расширяется.

– Анатолий Александрович Астахов в аспирантуре не учился.

Старик замирает, озадаченный. Немая сцена! Устраиваясь поудобней, навожу биноклик, лицедей же мой ощупывает мысленный узелок: не забыть билеты на «Тристана»! Но он сейчас – не главное действующее лицо. Главное действующее лицо – Борода, вдруг звонко хлопающий себя по лбу.

– Ну конечно! Конечно же... Ах, старая калоша! Прошу прощения у почтенной публики: Астахов действительно не учился в аспирантуре. Не поступил... Но почему, хочу я знать. Почему не поступил самый талантливый? Почему, задаю я вопрос, не поступил самый перспективный? Документики ведь, насколько мне известно, подавал. Или опять путаю что-то?

– Не путаете, – успокаивает соискатель. – Подавал.

– Но?!

Плывущий в распахнутые окна теплый воздух шевелит ветхозаветную бороду, поднимает волосики на голове – будто туман клубится на берегу грушецветного пруда, в котором *ставший* аспирантом рыбачил когда-то со своим научным руководителем. Удачно рыбачил – в преддверии грозы, нависшей над ближним и дальним лесом, как сейчас нависло над примолкшим залом коварное «Но?!»

И вдруг:

– Разрешите мне!

Посланник... К удивлению зала и моему, признаться, тоже. Только что сидел, ласкал усики, с Кафедрой Иностранных Языков шептался, на женщину со змейкой посматривал и вот уже стоит. Нет, идет, неторопливо поворачивается лицом к притихшей публике. Кто-то спешно прикрывает окно. Стекло вспыхивает, солнечный блик скользит по рядам, отражаясь в глазах – точно десятки маленьких линз сверкнули одновременно.

Я защищен от подобной бесцеремонности. От чужих глаз защищен – спасибо Посланнику! – от чужих ушей, от чужого праздного любопытства. Лишь Три-а знал о моем существовании – не догадывался, как кое-кто, а знал наверняка, – но Три-а нет на свете, глухонемая же чета, те единственные, с кем я общаюсь, видит во мне только соседа – я надеюсь, хорошего, – да часовых дел мастера.

Последнего, по-моему, они ценят больше. Наручные часики не приносили, правда, ни разу – то ли везет с наручными, не ломаются, то ли в мастерскую отдают, а вот настенные, с боем, который время от времени пропадает, притаскивали.

Зачем бой глухонемым? Как вообще узнают, что часы, закапризничав, смолкают? Я-то не задаю подобных вопросов – это Посланник, который в курсе некоторых моих дел (немногих!), любит позабавить знакомых байками о глухих супругах, улавливающих сверхъестественным

каким-то чутьем голос скрытого от глаз механизма. Не знаю, не знаю... А что, если лишенные слуха ощущают скрытое от глаз лучше, чем мы? Им ведь ничто не мешает: ни людская болтовня, ни транзисторы, ни позывные «Маяка», столь милые сердцу моего педанта, ни гул улицы за распахнутыми окнами. (Закрыли еще одно; Борода, побряхтев, – не ожидал, как и я, такой прыти от вальяжного автомобилиста! – опустил на место.) О миг беззвучья! Не только ранним утром случается, до первых вскриков электрички, заменивших петушиное пенье (в Грушевом Цвету не держат кур), но порой и днем, посреди, например, жаркого пляжа, на который счастливоусталый купальщик выходит из воды с маской и лапами. Гвалт, смех, хлопанье мяча, детские крики – и вдруг все быстро и как бы наискосок уходит. Тишина... Звонкая тишина сжимает уши, будто, погрузив в прохладную воду лицо – затылок же солнце припекает, – вновь парит белотелый пловец над бородатými, живыми, зелеными от шевелящихся водорослей камнями... «Астахов? – переспрашивает беззвучно. – Толя Астахов?» И толстяк с лупящейся кожей подтверждает: да, Астахов – он только что говорил с Москвой. Подробности не знает и Астахова тоже не знает – сколько ему, любопытствует, годков-то было? Вздохнув, к воде шлепает, входит в воду, но окунуться долго не решается. Сдирает с груди розовую кожу, дует, вытянув губы, лоскутки нехотя летят...

Натянув брюки. Посланник заспешил на почту. «Что там с Астаховым? – орал в раскаленной будке. – Это правда, что...» – «Правда, – ответили ему. – Все правда...» Скорбный голос звучал совсем близко, и эта горестная интимность страшнее всяких слов убеждала: да, правда. Раздавленный, брел по горячему, заляпанному шелковицей асфальту – раздавленный не только событием, которое вот только теперь грянуло по-настоящему (на пляже все-таки не поверил), а и неполнотой, неглубиной своего потрясения. Словно давно предчувствовал такой конец... Чужая жизнь, слабея, тихо отступала с рентгеновской улыбкой на устах, он видел это – конечно же, видел! – но отводил взгляд и в смятении притушевывал веселый напор жизни собственной.

Скрестив на груди руки – жест доверия и мира! – глядит в зал.

– Знаете, почему Иван Филимонович заговорил об Астахове?

Тихо сказал – он вообще не любитель повышать голоса, – но народ услышал, хотя одно окно все еще оставалось открытым и уличный гул, напоминающий отдаленный шум моря, вползал вместе с запахом остывающего асфальта.

– Сегодня пятьдесят лет Толе. Юбилей... Мы с Иваном Филимоновичем как раз говорили об этом, когда ехали сюда. Медленно, правда, ехали, опоздали, но вы уж простите нас. – Вот! И мы тоже не ангелы... – Я и от вашего имени, Иван Филимонович, ладно?

Борода поерзал на тощих ягодицах, но промолчал, соглашаясь: да уж чего там, не ангелы.

– Я весь день сегодня думаю об Астахове. И знаете, что вспомнилось мне? Один наш давний разговор – в конторе у него. А работал он, должен вам сказать, в статистическом управлении. Клерком. Обыкновенным клерком! И это, как правильно говорили тут, человек, которого поцеловал бог. Я, во всяком случае, – и это, поверьте мне, не кокетство, – чувствовал себя рядом с ним жидковато. Может, потому и забросил удочку: не попробовать ли, Толя, еще разок? В аспирантуру... Времена меняются, люди меняются. Если хочешь, говорю, подыдем документы, глянем, кто тогда был против. Хочешь?.. Понимаю, – вскинул оратор мой руки, – понимаю: не имел права, но... Что было, то было! Можете, – повернулся к ректору, – покарать за нарушение этики. Вернее, за готовность нарушить. Только за готовность! Ибо знаете, что соизволил ответить чиновник статистического управления, чье место не там было, не за столом с арифмометром и ведомостями, которые он перебирал в перчатках с отрезанными пальцами, а здесь, в этом зале? Если, пардон, – кивнул легонько в сторону президиума, – не за этим столом...

Одобрительный смешок пробежал по залу. Посланник откинул чубчик. То был миг вдохновения, мне недоступного.

– Вы спросите, какое отношение имеет все это к нынешней повестке дня? Сейчас увидите. Только, прошу, вдумайтесь в то, что ответил на мое не слишком корректное предложение наш выпускник Толя Астахов.

Кто-то, поднявшись, закрыл окно – последнее! – и теперь ничто не мешало наслаждаться действием. Борода сидел, наклонив плешивую голову.

– Астахов сказал: не надо. Не на-до! То есть, спрашиваю, ты не хочешь знать, кто был против? Не хочу, отвечает, и принимается трещать на своем арифмометре. Не хочу – слышите? – Профессор смолк, уронив обессиленно руки и с приятной грустью ощущая, что чем-то напоминает сейчас Три-а. – Вот, собственно, все, что я имел честь доложить высокому собранию. Благодарю вас! – И, полный грациозного смирения, направился по скрипящему паркету к своему месту.

Хоть бы разок поинтересовался, что за странная фигура возникает время от времени в сумерках за окном – неподвижная, с плоским, темным, будто в сетке от пчел, лицом! Когда-то уже видел такую – давно, очень давно, в другой жизни, где еще была мама, к которой он в страхе прижимался – мягкой, теплой, а она, наверное, объясняла, что не надо бояться, это обыкновенный пасечник...

Теперь не пасечник приходил, другой, но тоже из Веникова. Об этом – что из Веникова – догадался сам: тетушки ни словам не обмолвились. Узрев человека за окном, задергивали торопливо шторку и, как бы ни был остр очередной территориальный спор, спешно мир заключали: сообща отвлекали племянника, развлекали, а раз даже сунули с перепугу Большие Карандаши, что лежали двумя рядами – двадцать четыре штуки! – в синей с красными полосами, широкой, как учебник, коробке. В классе такой не было больше ни у кого.

Хранились Большие Карандаши за часами и, как часы, бездействовали. Для будущего берегли их тетушки – подобно многочисленным вареньям, – а пока что, говорили, хватит обычного, в шесть цветов набора. Он соглашался: хватит (и с одной соглашался, и с другой, и с обеими сразу), но, оставаясь один, забирался на табурет и доставал из-за тогда еще безымянных часов красно-синюю коробку. Слезал, тут же на колени опускался, превращая табуретку в стол, и, прислушиваясь к двери, запертой на два замка – один тетушке Лю принадлежал, другой тетушке Ли, – брал по очереди карандаши и затушевывал на тетрадном листке квадратики. Медленно, оттенок за оттенком, один цвет переходил в другой, другой – в третий... Вот так, подпираемый соснами, темные стволы которых истончаются от косых, но все еще ярких солнечных лучей, переплавляется закатное небо из лимонного кадмия в желтую охру, из охры – в оранжевый сатурн, из сатурна – в раскаленный, сжатый малым пространством вермильон... Все цвета вмещает палитра, этот Ноев ковчег, спасающийся от потопа ночи. На айсберг налетает, айсберг-облачко, рваные края которого вспыхивают прозрачной краснотой, в то время как середка наливается густым пурпуром, выплеснутым при столкновении... Кто сосчитает эти бесконечные переливы, эти переходы и модуляции! Цвет, как и материя, дробится бесконечно, а маленький колорист полагал в своей наивности, что двадцать четыре Больших Карандаша объедают все. Запертый на два замка (был, между прочим, и третий) предавался самозабвенно тайному вдохновению, пока в тишине не звякал вставляемый в скважину ключ. Проворно на табуретку вскакивал, клал заветную коробку на место и встречал входящих тетушек открытым, как у пионера, бесхитростным взглядом. Здравствуйте! Вот и я, ваш хороший, ваш послушный мальчик.

Не в пример тем, кто, взяв бюллетень, стыдливо уединяется, чтобы конспиративно поколдовать над ним, опускает свой сразу, на глазах у всех. Никаких тайн! Никакого лукавства! Хотя кое о чем все-таки умолчал, излагая сокровенную свою беседу с несостоявшимся аспирантом. О такой, например, фразочке – Три-а обронил ее, прежде чем крутануть арифмометр:

«Но ты ведь знаешь, кто был против?» «Знаю, – признался атташе. (Правдивый как всегда.) – Знаю...» – «Ну и достаточно, – молвил несостоявшийся аспирант. – А я знаю, кто был за». И назвал имя Рыбака, с которым Посланник, тогда еще кандидат, но уже зрелый, уже на полпути в доктора, сживал в рассветный час на берегу грушецветного озера. «Он ничего не мог сделать!» – бросился ученик на защиту учителя. (Благородный ученик! Благодарный... Именно вдове Рыбака предназначался лежащий на заднем сиденье пакет с ароматными яблоками.)

В коридор выходит... Вдали, на подоконнике, кто-то сидит, как сидела давеча Русалочка. Уж не она ли опять? Очки надевает – она! Назад было подается, но там – Пропонад. Завяз в ученой суতোлке, но уже выбирается и сейчас заграбастает, преисполненный благодарности.

Спасаясь от Пропонада, устремляется к подоконнику.

– Вы все еще здесь?

– Я всегда здесь, – отвечает, пряча сигарету, сторонница третьего пути.

Глаза профессора удивленно расширяются. Но не слишком – дабы читающая в подлиннике темных немецких авторов не проникла взглядом в грушецветное укрытие.

– Уж не хотите ли сказать, что днюете и ночуете здесь?

– Хочу.

И смотрит, смотрит опять как тогда – *сквозь*, игнорируя моего представителя.

– И ночуете?

– И ночью.

За спиной – густой, ровный гул ученых мужей, прорезываемый дискантом Бороды, таким родным вдруг. Ах, как хочется обратно доктору диалектики, к своим, которые имеют скромность видеть лишь то, что им показывают! А если и набираются дерзости сунуть поглубже нос, то лишь украдкой – не пялятся, как эта.

– Пощадите! – вскидывает профессор руки. – Я стар, мой ум не быстр и не гибок – короче, я не понимаю вас, дорогая. Вы говорите в переносном смысле?

– В прямом.

– В прямом, что ночуете здесь?

– Да.

Посланник обескуражен, что и не собирается скрывать – напротив! – но только обескуражен не тем, что кто-то изволит почивать в Колыбели (на то и Колыбель!), а доверием, с каким его, преподавателя как-никак, ставят зачем-то об этом в известность.

– Прямо здесь? – кивает, резвясь, на подоконник.

Русалочка игривый тон игнорирует.

– Не здесь. В деканате. Там есть диван.

Так вот почему – воспаленные веки! Вот почему – плетенки на босых ногах! Спасибо хоть в ночной рубашке не является на лекции!

– Знаю! Замечательный диван. С валиками.

– Валики я убираю.

– Правильно делаете. Но разве деканат не запирается?

Помешкав, девица бросает уклончиво, что запирается все, и этот обобщенный ответ повергает тюремщика в легкое смущение.

– А ваши родители... Им известно, где вы? – Не как преподаватель – как отец дочери, пусть даже и вылетевшей из родного гнездышка.

– Папа приходил.

Тут уж я заволновался. Приходил? Сюда? Под окошком стоял? Не с сеткой ли на лице?

– И что?

На десять минут объявили перерыв – всего на десять, которые, судя по шуму за спиной, истекли, народ проголосовал – отчего ж не зовут? (Посланнику хочется, чтоб позвали.)

– Ничего. Сигареткой угостила.

Легкий дымок курится из кулачка, в котором зажата отравя. Не подействовало, стало быть, утреннее увещание.

– Хороший отец у вас. Демократичный.

– Как и вы.

– Как я?!

– Вы ведь сказали: ваша дочь тоже курит.

Профессор морщится: неужто сказал? (Свидетельствую: говорил.)

– Моя дочь, однако, из дому не убегает.

– С вами живет?

То ли удивляется, то ли сомневается... То ли с поличным ловит... И профессор, человек честный, признается:

– Не со мной.

И тут же уточняет (мысленно! только мысленно: не вступать же в дискуссию с пигалицей!): то не бегство было...

Как сказать! Спала и видела отпасть поскорей, отсоединиться, установить еще одну дверь – в добавление к тем полчищам, что заполонили землю, – толстые и тонкие, большие и маленькие, с крючочками и цепочками, с моржовыми клыками вместо ручек или медным кольцом, как у глухонемой четы... А Русалочкин философ утверждает, что люди, напротив, только и делают, что сметают разделяющие их преграды.

– Можно вопрос?

«Нельзя!» – пугается Посланник. Какой еще вопрос, вопросы на лекции...

– Ради бога!

Гул за спиной поутих – в зал возвращался народ?

– Ваш знакомый... Которому пятьдесят лет сегодня...

Нечто подобное и ждал, но поощряет, волевой мужчина:

– Да-да?

– Он своей смертью умер?

Подобное, да не совсем! Главное же – опять этот напряженно-близорукий взгляд, под которым бедный диалектик делается прозрачным, как стекло. (Я отодвигаюсь.)

– Увы!

Тут же спохватывается: почему – увы? Зарапортовался доктор, но небо, которое всегда благоволит к уважающим приметы (и магию круглых цифр), посылает на помощь ангела-спасителя.

– Товарищ профессор!

Оборачивается. Солнечным светом облит ангел, но не призрчен, нет, телесен и даже слепка грузноват – у Посланника пересыхает вдруг небо. В устремленных на профессора карих глазах – смешливая пытливость. Что, неужели все еще боишься меня?

Не боится! Экзюпери смел, Экзюпери ничего не боится. Просто он из тех, кто не насилует судьбу. С судьбой, полагает он, надо сотrudничать.

– Голосование завершено, – тихо говорит женщина со змейкой. – Вас нижайше просят.

Как узнал малыш, что тот, за окном, похожий на пасечника, – вовсе не пасечник, а родной отец его? От теток? Нет, тетки помалкивали. Двигали, Божьи одуванчики, массивный буфет, ширму двигали, сражаясь за каждый сантиметр (ползали на карачках, вымеряя), но в одном были едины: ни слова о человеке за окном. И тем не менее узнал. Как? Вот они, пять чувств, – каким из них нашарил в потемках истину?

Пять? Точно пять? А глухонемая чета, вдруг распознающая, что часы перестали бить! А босоногая студенточка, ошарашивающая вопросом, который так просто не слетает с уст! Тут надобно кое-что знать про человека – а она? Что она знает? Сочинил книгу об античном фило-

софе? Но о философах многие пишут. Полста исполнилось бы – не исполняется, а исполнилось бы! – но мало ли, кто не доживает до пятидесяти! Все, больше профессор не сказал ни слова. Даже, кажется, имени не назвал (свидетельствую: не назвал), и вдруг вопрос, который и ему-то не сразу пришел в голову. Выйдя из телефонной будки, весь мокрый, соленый – то ли от пота, то ли от моря, в котором еще полчаса назад парил безмятежно над зелеными кущами, рыбки же стояли под ним как неживые, зато камни, ожив, дышали, приподымались вслед за скользящим телом, – выйдя из раскаленной будки, брел куда глаза глядят по пятнистому асфальту, и вдруг – точно обухом по голове. Умер? Но ему ведь не сказали, что умер, лишь подтвердили, когда прокричал в трубку сорвавшимся, тонким, как у Бороды, голосом: правда ли, что Астахов?.. Правда! Все, подтвердили, правда.

Что – все? Последний раз виделись в Сундучке – снова в Сундучке, круг замкнулся, как замыкается всегда, хотя мой автомобилист и убежден, что по прямой шпарит. Круг замкнулся: шел дождь – как опять-таки в первый раз, в печи сырые дрова шипели, и не было света. Только теперь не на время отключили – навсегда, выдрал провода и скovyрнув заодно жестяную трубу, что, поблескивая на солнце, даже в июльскую теплынь салютовала дымком подъезжающей на электричке женщине. К сносу готовили полусгнившую халупу, но Три-а хоть бы хны! «На мой век хватит». В пальто сидел, ветхом и тоненьком, под стать халупе, и совестливый гость скинул незаметно свою японскую курточку из голубого полотна, рассеченного, будто реактивный самолет прошел, быстрой и бесшумной молнией. (Белой; Посланник любил определять, задрал голову, что за аэропланчик в небе.)

Три-а глядел на курточку улыбаясь. «Константин Евгеньевич?» – произнес и этим чрезвычайно смутил деликатного приятеля, который полагал, что муж Стрекозки – теперь уже бывший муж – наложил с некоторых пор табу на имя Дизайнера. «П-почему ты решил?» – спросил, моргая, доктор наук, и несостоявшийся аспирант развел простодушно руками. Сам не знает...

Пять? Точно пять? А как же курточка, которую и впрямь ведь Дизайнер подкинул, о чем, кроме их двоих, ни одна живая душа не знала? Не одарил, не облагодетельствовал – именно подкинул, за свою, разумеется, цену, отмахнувшись с приятельской грубоватостью от благодарных слов. «Перестань! Я оформлял им витрину...» До Дизайнера, мелькнуло, и надо дозвониться, прямо спросить – с ним можно прямо! – что все-таки произошло... Посреди улицы стоял в нерешительности курортник, рядом с урной, в которой громоздились арбузные шкурки и которую он не заметил вначале. «На мой век хватит...» Так говорит или очень старый человек, или очень больной, или... Пять? Точно пять? Нет, это лишь верхушка, есть еще, сейчас он не сомневался в этом и, напрягаясь, силился включить эти нижние, эти упрятанные глубоко чувства. Играла музыка, во дворике мотоцикл тарахтел, а на невидимом пляже объявляли в репродуктор температуру воды. Как тут сосредоточиться? Вот когда позавидовал Посланник замурованному в дачной тишине часовых дел мастеру!

Повернувшись, обратно зашагал, к почте. Очереди не было, он набрал код Москвы и номер Дизайнера. Не соединялось долго. Пространство гудело, как гудит оно, когда беседуют поверх голов аристократ Эпикур и оборванец Ян Чжу, дальний родич китайских тетушек, а я, как шпион, подслушиваю.

Наконец прорезался гудок. Долгий... В тот же миг курортник положил трубку. Понял: Три-а умер, просто умер, улыбнувшись напоследок и натянув до подбородка ветхое, с отлетевшей пуговицей пальто. (Тут он ошибся: пальто не было. Не в Сундучке умер Три-а – в больнице, на чистой простыне, а рядом жена сидела, не чужая жена, его опять – отходящий в мир иной понял это по ее лицу, по красным от бессонных ночей глазам, и ей-то, ободрая, улыбнулся.)

Пропонад – теперь уже профессор Пропонад, чему все, кроме Бороды, горячо поаплодировали, хотя «за» не все были, шестнадцать черных шариков сунули – профессор Пропонад отловил-таки своего заступника.

– Два слова! – Губы растянулись, образовав узкий треугольничек; совсем узкий, что означало: буду краток. – Пожалуйста, два слова.

Посланник попытался высвободить ладошку, но не тут-то было: натренированная смычком рука держала крепко. Покорно, хотя и не без некоторого страха, двинул в пропонадовский кабинет, оплот дисциплины и порядка.

Нет, не оплотность пугала его, а возможное – по случаю этапного события! – отступление от нее. Откроет сейф, достанет бутылочку, а что он на это высшее, на это фантастическое доверие? Премного благодарен, но не могу-с?.. За рулем...

– Садитесь! – простер именинник руку и тоже опустился в кресло. – Вы, прошу прощения, реалист?

– Еще бы!

– Я тоже. Поэтому давайте без предисловий. Вы видели реферат, который представил на аспирантский конкурс Анатолий Александрович?

– Я видел то, во что реферат этот превратился.

– Он ни во что не превратился, – объявил Пропонад и, поднявшись, шагнул к сейфу.

Отпер и долго возился внутри, предусмотрительно заслонив собой тайничок. Что-то, показалось Посланнику, норовило выскочить оттуда, но адепт дисциплины заталкивал обратно. Ага! И у него, стало быть, есть затворник, но узилище узилищу рознь. Разве сравнить сей металлический склеп с грушецветным помещьем!

Наконец извлек осторожно выцветшую папочку, а тяжелую дверь проворно захлопнул.

– Вот этот реферат. Как видите, он ни во что не превратился.

В сейфе шевельнулось что-то и затихло.

– Он превратился, – с улыбкой возразил Посланник, – в книгу, которая, надеюсь, скоро выйдет. Сегодня я как раз был в издательстве.

– И что?

Мой виртуоз поиграл пальцами.

– Кое-чем пришлось пожертвовать.

– Без жертв, – вздохнул новоиспеченный профессор, – в нашем деле не обойтись... И от многого ли, если не секрет, пришлось отказаться?

Я затаился. Скажет или не скажет? Если уж о вениковских яблоках растрезвонил всей Колыбели...

– Давайте не будем об этом. – Виртуоз! Подлинный виртуоз! – Главное – книга выйдет. Что же касается реферата...

– То был самоубийственный документ, поверьте мне!

Верит... Коли один реалист говорит, другой обязательно верит.

– Меня, кстати, спрашивали о самоубийстве. Буквально только что, в перерыве. Своей ли, дескать, смертью умер Астахов.

– Меня тоже спрашивали. Тогда еще... Вы думаете, – понянчил на ладони папочку, – я случайно храню? Как-нибудь почитайте на досуге. Это ведь знаете что? Апологетика тотального отрицания.

– Сомнения, – ласково поправил доктор диалектики. – Тотального сомнения... Что, как вы помните, является краеугольным камнем античного скептицизма. Об этом еще Пиррон говорил. Хотя от самого Пиррона, увы, не осталось ни строчки.

– Как от Сократа.

Браво! Ну чем не профессор? Чем не интеллектуал и эрудит? Зря Борода катил на него бочку, зря... Посланник лишь заметил, поглаживая усики, что имело место еще одно сходство:

оба в молодости баловались кистью. Да и вообще, не без грусти молвил ученик бабушки Рафаэль, философы – это несостоявшиеся художники... И музыканты, мог бы добавить скрипач, но другое занимало сейчас проректора по надзору. Ладно, согласился великодушно, пусть не отрицание, пусть сомнение, но есть, есть же вещи, которые под сомнение ставить грех.

– Хорошо, я догматик, я не в претензии. Но, по Астахову, догматиками выходили знаете кто?

– Знаю. Все, кто не принадлежал к скептической школе. Только это не Астахов, это опять-таки Пиррон.

– Пиррону простили б, Астахову нет. Представляете, чем все это могло закончиться для него – в то-то время! Я ведь добра ему желал. Напишите, говорю, новый реферат, и мы примем вас с распростертыми объятиями. А это упрячем – для вашей же безопасности. Не волнуйтесь, говорю, не пропадет – люди прочтут.

– Письмо потомкам.

Легкая тень прошла в бойницах глаз.

– Не понял.

– П-письмо потомкам. В капсулах замуровывают, знаете? Дабы в будущем вскрыли и прочли с гордым выражением. Капсула безопасности!

Пропонад не отреагировал: круговую оборону держал от разных двусмысленных шуточек... Открыв сейф, сунул папку на место, но закрыть не успел. Зазвонил телефон, и на миг он утратил бдительность. Этого достало, чтобы таинственный пленник вырвался на волю. Им оказался небольшой разрисованный под глобус мяч. Тут же схваченный под неистовствующие, как сирена, телефонные звонки был водворен обратно в камеру.

– У внука день рождения в пятницу...

Подымается, руку жмет, обещая – непременно! – передать поклон вдове Астахова. (Слышала б Стрекозка! О другой вдове, Рыбака, помалкивает...) Выходит, но, спохватившись, возвращается, чтобы спросить, не ночует ли, часом, кто-нибудь из студентов в стенах учебного заведения. Пропонад не сразу понимает, о чем речь, а поняв, отрезает: «Исключено!» – и Посланник с легким сердцем мчит дальше – вперед, по прямой, только по прямой, с легким сердцем и легкой памятью, которую не обременяют картины минувшего, я же в своей грушецветной капсуле – капсуле безопасности! – отяжеленно плыву по вечному кругу. К Сундучку приближаюсь – опять к Сундучку! – которого давно уже нет, но человек в пальто сидит, потирает руки в перчатках с отрезанными пальцами – единственное, что нажил в своем статистическом управлении, откуда его попросили за излишнюю, надо полагать, педантичность. «Зябнешь?» – спрашивает закаленный купаниями и банькой жизнерадостный гость. Хозяин, не отвечая, смотрит со смиренной улыбкой – будто не узнает. Будто надеется, что это не Посланник – другой кто-то. Вот-вот, другой, которого он терпеливо ждет у шипящей сырыми дровами нежаркой печечки и который, войдя, скажет другие слова... Но ничего, он и этим рад. Всему рад. Всему и всем... «Константин Евгеньевич?» – показывает улыбчивыми глазами на сброшенную украдкой щегольскую курточку, и гость понимает: Дизайнера встретили б здесь столь же миролюбиво. Что ж, в конце концов не замшевый фельдмаршал увел жену, другой мужчина, повыше ростом, пошире кистью и с фамилией Столбов, – какая женщина устоит против такой фамилии! Однако и со Столбовым, уверяла Стрекозка, у бывшего мужа великолепные отношения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.